Василий Киреев

Были и небылицы

Мои кольца. Мозаики

Василий Киреев

Были и небылицы. Мои кольца. Мозаики

«Издательские решения»

Киреев В. А.

Были и небылицы. Мои кольца. Мозаики / В. А. Киреев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-961533-6

« — …Я же всегда с тобой разговариваю, даже когда тебя нет рядом.— Я знаю. Я же тебе всегда отвечаю».«Эх ты, — сказал могильщик, — памятники не от слова память, а от слова напоминать».«Были и небылицы» — мозаика рассказов о местах, событиях и людях, встреченных в путешествиях, не вошедших в путевые дневники автора серий «Мои кольца». Пинежские зарисовки и Таймырские рассказы — о дальних уголках и судьбах их жителей; «Концы» — о русской глубинке и Донецке, а «Небылицы о любви» — о Любви.

ISBN 978-5-44-961533-6

© Киреев В. А.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие 6
Пинежские зарисовки 7
Светлая Пинега. Предисловие к Пинежским зарисовкам 7
ПРОСТО ОСЕНЬ. (САША, некролог в светлых тонах) 8
ЗОЛОТЫЕ ОКНА 10
1. ШОТОВА. ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 10
2. ШОТОВА. МИША 11
3. ЕДОМА. ЛЮБКА 12
4. ШОТОВА – КАРПОГОРЫ. ПЕТРОВИЧ 14
5. ДОРОГА В СУРУ. ИЛЬЯ 15
6. СУРА. МАТУШКА МИТРОФАНИЯ 16
7. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ 18
Небылицы о Любви 20
ХВОСТИКОМ МАХНУЛА 20
Пазл 27
Бери, не вникая… 39
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Были и небылицы
Мои кольца. Мозаики

Василий Анатольевич Киреев

«Не моя вина, если со мной случаются такие диковины, которых ещё не случалось ни с кем. Это потому, что я люблю путешествовать и вечно ищу приключений, а вы сидите дома и ничего не видите, кроме четырёх стен своей комнаты».

Рудольф Эрих Распе. «Приключения барона Мюнхгаузена».

«Сейчас все хотят тепла, уюта и покоя. Но отрава бродяжничества уже в крови. И никакого покоя дома они не обретут. Снова начнет тревожить вечное влечение дорог – едва просохнет одежда и отмоется грязь из под ногтей. Я это знаю точно».

Алексей Иванов. «Географ глобус пропил».

© Василий Анатольевич Киреев, 2019

ISBN 978-5-4496-1533-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Никогда и никуда мне не деться от путешествий – таков уж образ жизни. А поскольку жизнь эта длится уже некоторое значимое время, путешествий тоже накопилось изрядное количество, и в каждой, даже самой банальной, самой заурядной поездке было что-то, что заставляет к ней вернуться в мыслях: сюжет ли, чья-то судьба или просто место. Но не все путешествия стали или станут «кольцами» на бумаге – это было бы слишком утомительно и для меня, и для читателя. Особенно запомнившиеся из этих «небумажных» колец моменты я решил собрать в одной книжке – «Были и небылицы». Собственно, все просто: «Были» – это то, что увиделось, а «Небылицы» – о чем подумалось. Впрочем, разница между первым и вторым весьма условна, как и граница. Рассказы разбиты на четыре раздела, два из которых – по географическому признаку. Таймырские и Пинежские. Тут нечего объяснять – это по следам наших «колец», сделавших эти места – крайне важными для нас по самым разным причинам. «Концы» – тоже места, ставшие значимыми в виду неких внешних обстоятельств, заставивших туда поехать. Собственно, «конец» – это когда ты просто сел и поехал в конкретную точку. Ну, а «небылицы» – они потому и небылицы, что это не произошло непосредственно с нами, а то, что называется, навеяло, хотя и в процессе путешествия. Вовсе не потому, что этого не было: всё было, и всё – правда.

Пинежские зарисовки

Светлая Пинега. Предисловие к Пинежским зарисовкам

«Тихо. Невнятно. И в грусть.
И лепестками задета,
Где-то запутана Русь.
Русью опутано где-то…

Это наверно в верстах.
Скрыто, наверное, в вёршах.
В копьях. В шатрах и в шестах.
В песнях. В заветах умёрших».

Александр Южанинов. «Снежная грусть».

«Люди из последнего помогают друг другу.
И такая совесть в народе пробудилась —
душа у каждого насквозь просвечивает.
И заметь: ссоры, дрязги там —
ведь почти нет… братья и сестры».

Фёдор Абрамов, «Пряслины».

Пинега. Далеко на Русском Севере, там, где огромная Северная Двина уже приближается к Белому Морю, она принимает в себя справа воды одного из своих главных притоков – Пинеги. Пинега, начинаясь в болотах и лесах недалеко от Северной Двины, бежит от нее прочь, на восток, чтобы огромным полукольцом охватить эту территорию величиной с Францию – Светлое Пинежье – и вернуться потом к Двине у Холмогор. Здесь, в этих местах, сошлись сразу несколько культур, образовав совершенно особый мир, в котором живут очень простые и очень правильные люди – пинежане, поморы. Это люди из тех, что могут послать трехэтажным заковыристым словом попа подальше, чтобы срубить часовенку не по канонам, а по своему усмотрению. Здесь православные обряды встречаются с языческими, да так органично, что и не поймешь, что откуда пришло. Здесь люди говорят на необычном, но очень легком, мелодичном и приятном уху языке, причем, несмотря на его особенности, абсолютно понятном, что, возвращаясь, невольно начинаешь вставлять в свой разговор их слова.

Здесь есть Веркола и Сура, здесь жил и писал Фёдор Абрамов.

Я очень много путешествовал по разным местам, встречая удивительное и необычное вокруг. Но Пинега – единственное место, куда, приехав, я сразу понял: Я не приехал сюда. Я вернулся. Тут она, та самая Русь. В широте рек, в невероятных просторах. Но главное – в душах живущих тут людей. О некоторых из них и будут Пинежские зарисовки.

ПРОСТО ОСЕНЬ. (САША, некролог в светлых тонах)

«Gedanken, die mit Taubenfüssen kommen,
lenken die Welt».

Friedrich Nietzsche,
«Also Sprach Zarathustra»[1]

24 сентября 2005 года была чудесная солнечная погода. Последние годы лето с трудом уступает свое место осени, позволяя в сентябре лишь слегка понизиться температуре, да окрасить листья в невообразимые цвета, что делает это время одним из самых красочных. Я люблю его, пожалуй, даже больше, чем весну первой половины мая, когда природа, просыпаясь ото сна, одевает деревья в листву особого, майско-зеленого цвета. Люблю еще и потому, что этими разноцветными листьями можно пошуршать, пройдя по дорожкам «по-детски», не поднимая ног. Собственно, наслаждаться шуршанием листьев научили нас именно дети, и в то субботнее утро мы ехали на дачу вдвоем с Лёлькой, пошуршать по лесу, а потом посидеть у камина, когда раздался телефонный звонок. Определившийся в телефоне архангелогородский номер не был мне знаком, а голос в трубке, принадлежавший офицеру ФСБ, одному ему понятным образом раздобывшему мой номер, спросил: «Вы уже знаете?» «Что?» – спросил я в ответ, почувствовав, скорее, не тревогу, а какую-то тоску. «Сегодня ночью Саша погиб».

Я не помню ни даты, ни месяца, когда мы впервые повстречались. Помню только, что было промозгло, и мы заказывали себе в ресторанчике «Шварцвальд» на Петровке еще и еще пива с колбасками, просто чтобы не выходить на улицу. А Саша, как истинный знаток немецкого пива, определил, что это лучший пивной немецкий ресторанчик в Москве, и потом мы разговаривали с ним большей частью там, а не в моем офисе, располагавшемся через двор. Теперь нет там ни моего офиса, ни «Шварцвальда», и Саша расстроился бы. Но и Саши нет.

В тот вечер мы проговорили несколько часов, как будто знали друг друга сто лет. Мы сразу обнаружили, что очень похожи. У нас одного возраста дети, их у нас по трое, по две девочки и мальчику. У нас похожие взгляды на их образование и будущее, мы в одинаковых выражениях ими гордимся и на них ругаемся. Мы очень любим Север, он только острее, потому что там родился и жил. Мы, вообще, оба свалили ли бы нафиг из наших мегаполисов, я из Москвы, а он из Берлина, если бы не дети. Мы очень любим эту осень, светлую и какую-то одновременно и радостную, и грустную, особенно на Севере, с ее невообразимыми цветами; любим лыжи и пиво, быструю езду и перелеты.

Потом у нас было время пообщаться. И в Германии, которую мы проехали из конца в конец, и в Москве, и в Питере, и в Архангельской области, по которой мы тоже с ним проехали из конца в конец, а он невольно сравнивал эти две территории, похожие по площади, но такие разные. Но сравнивал как-то легко и позитивно, типа «я бы тут сделал так…»

Острота его любви к Северу и к жизни вообще, скорее всего, его и погубила. Он очень торопился. Торопился сделать что-то, поэтому вошел в команду, которая выиграла губернаторские выборы, стал замом, но, в результате, не смог перевезти семью из Берлина в Архангельск; так и мотался между ними, стараясь успеть и там, и там. Но никак не успевал. И однажды, такой же осенью, попросил приехать меня в его деревню, Шотову, что на Пинеге. Мы сидели с ним в бане, пили пиво, шуршали по лесу листьями. И он принял это решение, принял в пользу семьи, подав в отставку. А у меня до сих пор осталось чувство, что не будь той осени, может, решение было бы другим. И сидели бы мы с ним снова в немецкой пивнушке, а может, в баньке

[1] «Мысли, пришедшие на голубиных крыльях, правят миром». Фридрих Ницше, «Так сказал Заратустра». Более известен вольный перевод – «Мысли, ступающие голубиной поступью, управляют миром». Здесь и далее – прим. автора.

на Пинеге… Но, даже уйдя в отставку, он все равно не мог оставить свою команду, прилетал из Берлина и носился, как угорелый, торопясь сделать хоть что-то.

Пока не встретил на своем пути выехавший на встречку грузовик. Лоб в лоб.

Он писал стихи.

«Плачет дождинками небо,
Сырость приносит нам грусть.
Где бы я только не был,
Я снова к тебе вернусь!

Пахнут туманом росы,
Прохлада стоит на лугах,
Русые длинные косы,
Лодки на берегах…»[2]

Путешествовал и катался на лыжах. Успевал воспитывать детей, непременно, каждый год привозя их в родную деревню, и они, без сомнения, являются носителями обеих культур, думая по-немецки и по-русски, но умея подпевать пинежским напевам. Записывал на клочках бумаги комментарии к Ницше. Строил с отцом дом. Поставлял из Германии почтовые машины. Играл в футбол и был чемпионом Северодвинска среди юношей по боксу. И мечтал восстановить Шотовский Храм.

Он очень светлый человек. И по прошествии лет о нем хочется говорить с радостью, лишь чуть приправленной легкой грустью, как пинежская золотая осень слегка приправлена легкой дымкой. И, словно понимая это, природа дарит каждый год приехавшим к нему 23 сентября друзьям отличную погоду, все эти годы без исключений.

Он мечтал восстановить этот Храм, но так получилось, что восстанавливает его Миша Суховерхов, с которым мы обменялись крамольной мыслью. А если бы не смерть Саши, взялись бы мы? И Храм получается очень светлый, высокий и не давящий.

«Зачем нужна такая дорога, если она не ведет к Храму?»

А вообще, там потрясающая осень. И очень светлое, совсем не тяжелое кладбище, с могилами без оградок и огромными вековыми соснами. Вот сойка между ветвей. Она летала над нами, приближаясь кругами, пока не достигла цели, сев прямо на памятник. А на ее место на ветке пришла белочка. Конечно грустно. Но и светло как-то. Да и время прошло.

«Карпогорский экспресс»[3] приходит в Архангельск рано, в 5 утра, и я обычно успеваю на 7 часовой самолет в Москву. Но в этот раз я взял машину и поехал гулять по предрассветным и утренним Малым Корелам.

«Спасибо тебе, Саша, и за эту утреннюю, осеннюю красоту», – успел я подумать, и на ветку надо мной опустилась сойка.

И все же мы очень разные. Цитата, которую я сделал эпиграфом – его любимый афоризм. А мне по тому же поводу всегда было понятнее восточное. *«Великая речь неприметно тиха. Малая речь гремит над ухом»*. И, несмотря на всю грустную красоту Сашиного кладбища, мне больше по душе колумбарии.

Так сказал Заратустра.

Сентябрь 2010

---

[2] Александр Южанинов, «Лето жизни».

[3] Местный поезд Архангельск – Карпогоры.

ЗОЛОТЫЕ ОКНА

Золотые окна.

В этот год «перемычка» – 30 километров отсыпки по болоту в районе Сии – была окончательно объявлена доро́гой (местный губернатор так сказал, пролетев над ней на вертолете), поэтому народ там ездит круглогодично. И я ухватился за предложение поехать в Шотову машиной, а не «карпогорским экспрессом». Там есть два места, в непосредственной близости от дороги, Лявля и Чухчерьма, которые давно хотелось посетить, а все не складывалось. Но не они – цель[4]…

1. ШОТОВА. ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Людмила Сергеевна всё про свою болезнь знает и ясно отдает себе отчет в том, что с ней происходит. Человеческая память ведь устроена очень непросто. Когда Саши не стало, удар на себя приняла она. Петрович, и без того маленький и худой, как пацан, этакий гвоздь в своито семьдесят, получив от судьбы удар по «шляпке» – всегдашней его кепке, – вдруг изогнулся сразу в нескольких местах, зашатался под непосильной ношей, попытался, было, заглушить свою боль вином… А Людмила Сергеевна, всегда согнутая буквой «Г», как будто даже распрямилась навстречу этому удару. Стиснула зубы. На похоронах приняла на себя все заботы, отдавала четкие и твердые команды. Вот и не прошло бесследно. Она помнит, как меня зовут. Что у меня есть внук…

– Василий, – говорит она, и начинает рассказывать о ком-то. Потом остановится на полуслове. – Забыла. Прости. – Посидит, подумает и скажет – Такая вот беда со мной. Я знаю, что сказать хочу. Слова просто потерялись.

– Я ведь петь любила в детстве. Сейчас снова пою. И ведь слова все, как на листе – думала, забыла, с детства ведь ни разу не пела. А все помню. Откуда?

У Людмилы Сергеевны правильная речь, не деревенская какая-то, и очень точные и короткие ответы. «Ты какова?» – спросила её при мне старушка-подружка (а я аж зажмурился от самой постановки вопроса). – «Пою…».

Я беру в руки листок старой газеты.

– Вот в это время, после завтрака, всегда так. Все буквы перед глазами вдруг пляшут. А потом пройдет. Мне в это время нож в руки нельзя брать. А к плите больше не подхожу, боюсь. Вдруг забудусь? – Однажды она и вправду забылась, ушла. Петровичу позвонили

[4] Семь коротких рассказиков о Средней Пинеге. Шотова, Едома, Кеврола, Ваймуша – названия пинежских деревень около райцентра Карпогоры. Сура – в ста километрах выше.

соседи: «Не твоя ли Люда у кирпичного?» А она переживает. Легче ли Петровичу от того, что не берет она в руки ни ножи, ни спички, ни сковородки? Не оттого не берет, что трудно – понимает, что опасно. А еще она очень верит в приметы.

– А я ведь не боюсь.

– Чего не боитесь-то?

– Ну как чего? Смерти не боюсь. Я готова уже, только вот вещички немного собрать. Я ведь не вперед пойду, Саша уже там. А у него всё там хорошо, я знаю. Я видела.

– ?

– Когда его не стало, у меня все окна озолотились.

– Это как? Свет, что ли, яркий?

– Да, свет. Золотой прям. Минут пять все окна пылали. А потом вдруг погасли. Стало совсем темно, хоть глаз выколи.

– А потом?

– А что потом? Не помню. Свет помню.

2. ШОТОВА. МИША

Михаил Дмитриевич всегда жил в Шотовой, с самого детства. Ему слегка за полтинник, и нынешнюю молодежь он не понимает.

– Мы ведь с детства работали. Так чтоб отдыхать – не было такого. Меня пацаном отец заставлял телят гонять – в Шотовой их выращивали до какого-то возраста, потом надо было перегнать в Ваймушу. Вот, на лошадях и гнали. Сёдла только у взрослых мужиков были – которые целый день коров пасли. А мы верхом, без сёдел. И сено возили, накидывали… Сейчас другое – ребята помоложе ждут, когда заработок побольше подвернется, не берутся за работу, что подешевле, но под рукой. А мы брались за любую.

– Ну да, – пытаюсь поддержать разговор и я, – еще же и хозяйство большое…

– Да какое там хозяйство, ничего не было. Так, огородик. Работа в совхозе до ночи, на личное хозяйство сил уже не оставалось. В совхозе хоть деньги платили, тем, кто в колхозе – совсем грустно было.

– А потом?

– Армия. После армии пошел в парашютисты – пожарные, лес тушить. Отряд в Карпогорах; наверное, благодаря ему аэродром жив еще. Хотя были плиты бетонные – увезли. Так вот и работаю, хоть и на пенсии.

– А платят хорошо?

– Не жалуюсь. Главное, есть свободное время, можно лесом – дровами заниматься… вот в этом году нас в Якутию через Красноярск отправили. Представляешь, прислали «Боинг», кормили, в гостиницах селили, да за такие деньги – неужто в Якутске нельзя отряд держать? – Михаил Дмитриевич долго рассказывает про Якутию и Сибирь. Целое путешествие. – А представляешь, около Енисейска едем по дороге – кругом бурьян, поля заросшие. И вдруг – все распахано, поля колосятся, техника, людей много. Одна деревня, другая – все ухожено. А потом снова бурьян. Оказывается, китайцы в аренду взяли…

– Да, не сильно-то времени на хозяйство остается, с пожарами-то.

– Остается. Раньше не было времени, сейчас есть – как пить бросил. Я ведь десять лет в рот не брал. А до того куролесил, запойный был, месяцами пил. (В прошлом году мы с Михаилом Дмитриевичем в Верколу ездили, нас на лодке перевез мальчишка – перевозчик. Разговор запомнился. «Выпиваешь?» – Спросил Михаил – «Да», – честно ответил пацан. – «Много?» – «Нет, как все». – «Это по сколько ж дней?». – Такая вот мера выпивки, в запойных днях. – «Ну, неделю»). Вся Шотова от меня стонала. А потом попали в аварию. Мы три часа в перевернутой машине были, пока нас нашли. Меня Марина выходила. Вот больше и не пью.

– И Храм решили тогда же восстанавливать?

– Да какое восстанавливать – законсервировать. Как бросил пить, так и время появилось, и за старое перед соседями захотелось как-то вину, что ли, загладить. Вот тогда и ТОС[5] создал. Мы же сначала полоскалку для белья на ручье сделали. Потом кладбище в порядок привели. Поначалу люди не верили – чудит, мол, Мишка, сейчас сорвется, и снова станет, как был. А Храм… у меня же ближний дом к нему, ну ты знаешь. Жалко. Я хотел законсервировать, дырки от куполов закрыть, чтоб вода не текла. Такими крышками, как бочки. А тут вы появились. И Илья пришел, купола поставил (я про купола в другой части, ладно?) Уже и не остановиться. Хорошо, что молодых ребят взяли на работу и обучили, а то балбесничали. Я только боюсь, они теперь научились, почувствовали вкус заработка, их вот летом на Соловки подработать брали. Будут ли в Храме работать?

– Так вы им и объясните, что шабашка – шабашкой, а Храм – это для себя. И дома.

– Попробуем. Авторитет уже появился. Мне сорваться теперь нельзя. Много уже на себя взял. Если упаду – не поднимусь больше.

– А ТОС-то закрыли совсем?

– А как его содержать? Это бухгалтер нужен, ему зарплата. Бюджет рубль даст, дак два рубля на бумагу уйдет. Зачем такой ТОС? Да и район уже ничего не решает – все в Архангельск. Я тут сварил из металла уголок, зимой за трактор прицепляю, проехал по деревне – дорожку прочистил. Так по всей Шотовой езжу, к Петровичу заезжаю. Раньше мне сельсовет деньги давал на солярку, сейчас нет денег. И в районе нет – пиши, говорят, бумагу в Архангельск, пусть нам выделяют, а мы тебе дадим. И на что нужен такой сельсовет – райсовет, раз не решают? Уголок-то все равно таскать придется.

– Хорошо, что в Архангельск, а то в Москву писать заставят.

– А что ты думаешь? Мне, чтоб за прыжки заплатили, надо 23 бумаги послать. За один прыжок. Ошибку сделал – вернут. Мне деньги только за май за прыжки заплатили… А не дай Бог, что случится – проблем не оберешься. Вот, подвернул ногу – боялся сказать, с палками из лесу выходил. А сказать, что травма – так ЧП, комиссия, разборка. И, не дай Бог, санавиацию пришлют – год отряд без зарплаты будет сидеть. – Миша помолчал.

– Я у тебя хотел совета спросить. Ты же знаешь, на церковном холме стояла «тройка» – деревянный старый Никольский Храм, наш, Покровский, каменный, и в стороне – колокольня.

– Знаю, первой погибла в тридцатых колокольня, потом в шестидесятых сгорел ставший клубом, но числившийся федеральным памятником, деревянный храм.

– Найти бы чертежи да точное место колоколенки…[6]

3. ЕДОМА. ЛЮБКА

В Едому можно попасть двумя путями – в Шотовой есть паром (в этом году «понтон» – переправа из трех старых-престарых сваренных между собой барж, проезд 120 рублей) на ту сторону. Раньше дороги шли по обеим сторонам Пинеги, северные деревни ведь всегда на берегах больших рек. А тут, напротив Шотовой и Карпогор целый куст деревень. Не́мнюга, Кевро́ла, Едома. Кеврола[7] – центр сельсовета, тут есть школа. Едома тоже деревня жилая, тут на зиму остаются четыре человека в трех домах. Зато летом деревня живет – все дома обитаемы, брошенных нет. Это, пожалуй, особенность Едомы. Если Кеврола стоит в низине, дома и огороды подходят прямо к пинежским заливным лугам, то Едома – на высоком утесе – угоре, на поляне в сосновом бору. Кевролу подтопляет каждый год, жители следят за уровнем Пинеги,

[5] Территориальный орган самоуправления.

[6] На момент выхода книги на месте старого Никольского храма силами Михаила и его односельчан возведен новый, со звонницей.

[7] Та самая летописная Кевроль, что старше Москвы. 1137 год.

и когда вода доходит до критического уровня, вытаскивают содержимое погребов наверх. Иногда дело кончается залитым погребом, но бывают годы, когда Пинега не щадит Кевролу и несет вешние воды прямо через огороды и палисадники, сметая льдинами ворота и заборы. Тогда радуются в Едоме – до них стихия не доходит никогда. В обычные же дни радуются в Кевроле – у них-то огороды под боком, а соседи вынуждены в свои ходить за километр, на их утесе лишь песок да сосны. Однажды, после очередного паводка, кеврольцы решили перенести свою деревню повыше, на холм в Едому, но те не пустили. Как не дали они построить ни одного нового дома. Поэтому Едома – неписанный заповедник, попадая в который оказываешься в пасторальной деревне времен Петра, ну, если бы не провода, спутниковые тарелки, да синие телефонные будки. А еще в километре вверх по реке, за Едому, была когда-то деревня Щелья. Ее нет уже совсем. Только церковь, да колокольня на высоком берегу, да заросшие кустами провалы на поляне в сосновом бору, которые были когда-то погребами в домах селян. Рядом с той деревней есть старое польское кладбище. Но это другая история.

Вот туда я и направляюсь ранним утром, правда, другим, более коротким путем, потому что в десять утра нужно быть на стадионе в Карпогорах – открывать турнир по футболу. Утро сегодня хмурое, капли дождя продолжают падать, несмотря на шедший всю ночь сильный дождь, и я ловлю себя на мысли, что как-то они медленно падают. И только рассмотрев их на лобовом стекле автомобиля, понимаю, что это такие набухшие снежинки – трудно организму поверить, что уже снег[8].

Другой путь – это по правому берегу до деревни Церкова, а оттуда на лодке, слегка наискосок, прямо под церковный холм Щельи.

Перевозит нас Владимир Николаевич. Он, как и Михаил Дмитриевич, парашютист – пожарный. Только постарше. У него в Едоме «дача». Ну, не в самой Едоме – чуть за нее. В самой не разрешили.

Никольский храм, что в брошенной Щелье, – единственный на средней Пинеге памятник федерального значения. Строительные леса, пожалуй, вызывают не меньшие опасения, чем сам храм, – старые прогнившие доски стоят здесь с начала девяностых, когда неравнодушный к «деревяшкам» человек приехал сюда и начал реставрацию. Слава Богу, успел закрыть крышу рубероидом, и в храме относительно сухо. Но не стало человека, и все остановилось. А храм был красивейшим.

Он не самый старый, 1798-го; колокольня старше, и заметно наклонилась. В этих местах это действительно последний деревянный старый храм. Чтобы попасть внутрь, надо взять ключи, поэтому мы идем в Едому по песчаной дорожке через бор, и попадаем в старину.

Если до этого я считал образцом северной деревни Кимжу, то теперь и Едома рядом с ней, и еще не понятно, кто вперед, поскольку в Едоме есть Храм, который, пока еще, не начали реставрировать методом полной переборки[9]. На значительном удалении, на краю, приютилась группка амбаров…

Удивительно и то, что тут совсем нет грязи – нет разбитых техникой дорог, дрова аккуратно сложены в поленницы, места, где кололи и пилили, тщательно выметены – нет не то что пластика, даже щепок… Как хочется верить, что так вот русские люди и жили всегда, в чистоте и порядке, в огромных домах, и не только в Петровские времена.

Идиллическое, пасторальное настроение и у моих попутчиков – Михаил Дмитриевич начинает рассказывать, что воон в том доме, у некоего Володи он купил *по́шевни*.

– Что купил? – переспрашиваю я.

---

[8] Действие происходит 24 сентября.

[9] Сарказм относится к реставрации Одигитриевской Церкви в Кимже – потрясающего по своей красоте памятника. На момент написания рассказа ее разобрали, и работы остановились. Но теперь (2018) уже все хорошо – Одигитрия на месте.

– Ну, не купил, так, символически заплатил я ему, – начинает объяснять мне Михаил, словно в выражении «купил пошевни» непонятным может быть скорее слово «купил». Потом понимает, что мне непонятно другое, и поясняет: – Пошевни. По-другому-то? По-другому – *крёсла*. Маленькие саночки такие, в шубах садиться… К разговору подключается Владимир Николаевич.

– Смотрите, – говорит он мне, – за рекой остров. Летом, по малой воде, туда люди ходят по колено.

– А зачем ходят?

– За земляникой. – Это Миша уже вступает. – Там ее столько, что на всех хватает. С Карпогор приезжают. Ты-то ходишь? – это он Владимиру Николаевичу.

– Хожу. Только я не за земляникой. Я там *и́скорень* собираю, его там много.

– Что собираете?

– Травка такая. Лекарственная. Мне еще бабка моя показала, ее сушат, корни перемалывают…

– Так что это за травка? – спрашиваю я, понимая, что это должно быть чем-то понятным и знакомым, просто тут имеющим свое название. Но Владимир трактует вопрос по-своему.

– Хм. Знаешь как тут баки говорят? Хероставная… – Володя мой проглоченный от такой формулировки смех воспринял по-своему, улыбнулся, и добавил – И от простуды помогает.

Так и останется у меня картинка этой деревни. Детвора, бегающая босиком по песчаным лужам с прозрачной водой, огромные дома, где на поветях сушится травка, собранная вместе с земляникой на острове… А зимой крестьянин в тулупе на пошевнях едет по заснеженной дорожке через бор к свежесрубленной Никольской церкви на высоком берегу. И всего-то чуть больше двухсот лет тому.

– Любка, – говорит вдруг Владимир. – Травка-то эта, любкой ее еще зовут. Хероставная, потому и любка. – И смеется доброй улыбкой.

4. ШОТОВА – КАРПОГОРЫ. ПЕТРОВИЧ

Турнир по минифутболу Сашкиной памяти – это тоже уже шестилетняя традиция. Его одноклассники решили так вот увековечить его память. Я слегка посмеиваюсь, но не над турниром – в конце концов, пацан, играющий на футбольном турнире памяти Александра Южанинова, рано или поздно спросит, а кто это такой. Собственно, это и есть цель. Меня восторгает серьезность подхода к этому и Петровича, и организаторов. Они с пеной у рта определяют правила, пытаются пригласить именитых судей, а корпоративные команды получают суточные и командировочные. Петрович знает уже фаворитов поименно, кто на какой минуте пробил, кто отбил, а кто нечестно играл. Я не особо люблю футбол, но присутствую там, и за эти шесть лет даже дважды его открывал – шанс рассказать, в память о ком это действо. А возвращаясь каждый раз после турнира вечером, знал, о чем мы с Петровичем будем под рюмочку говорить. Под рюмочку? В мой приезд летом Петрович не пил – испугался. Не за себя, за Людмилу Сергеевну. Вдруг он запьет, а как же она со своим недугом? Но потом подумал, пожалел себя… Он строил этот дом в Шотовой, еще когда уходил на пенсию. Мечтал, что уж на заслуженном отдыхе он уж точно наездится на охоту, рыбалку, нанянчится внуков, будет жить-поживать.

– Знаешь, я когда работал на заводе (на СевМаше, рентгенологом. Ага. Это люди, которые с рентгеновским аппаратом в руках проверяют качество сварных швов кораблей и лодок), я мечтал о пенсии. Ничего подобного. Я на заводе чаще ходил в лес, чем здесь. Это тогда еще. Сначала дом построй (а он построил огромный – внуков то много – дом сам, сам выбирал делянки, вытаскивал лес, сам рубил, сам печи клал – все сам), хозяйство заведи… А теперь вот. Козы, собаки… А Люду не оставить ведь одну. Да и не с кем теперь в лес-то ходить, нет никого из друзей. Один я остался. Знаешь, я решил, что можно выпить. Я же знаю, сколько могу. Я

тут выпил на бриллиантовой свадьбе у Поликарпыча, на утро в бане проснулся. Как дошел? А смотрю – козы на месте, молоко в кастрюле – подоил ведь. До дома не дошел, а козу подоил.

Он наливает мне рюмку.

– Я ведь сильный. Меня в детстве медвежонком звали. Когда ехал из армии в поезде, ко мне шпана пристала. Вышли в тамбур. Я вижу – поезд ход сбавил, достал нож, да как всадил одному.

– Как это «всадил»? Куда?

– Да в жопу. В другое-то место – убить ведь можно. А так – запомнит. И спрыгнул. – Разошелся что-то Петрович. Впрочем, я и сам знаю, что он двужильный. Тут вся Шотова рассказывала, что взял Петрович свой короб заплечный, и пошел на болото за ягодой. С мужиком, которому пятьдесят пять. Тот с ведром, а у Петровича короб на 30 литров. Мужик ведро набрал, глядит, а у Петровича короб-то полон. «Не донесешь ведь!» – «Это ты не донесешь», – огрызнулся Петрович. И донес. А мужик полведра по пути высыпал.

Так вот и уговорили мы с ним пол-литра. А футбол-то он долго смотрел, а потом отмечал, еще до моего прихода… Тяжело Петрович встал, держась двумя руками за край стола, посмотрел слегка помутневшим глазом и вышел во двор. Коз загнать и подоить. Собакам дать еды. А потом вернулся в дом и упал на кушетку, уснув тяжелым пьяным сном.

А на утро встал чуть свет. Поздоровались.

– У меня сок есть. Холодный. Будешь?

– Да мне не надо.

– Не похмеляешься? Никогда не похмеляйся. Последнее дело.

5. ДОРОГА В СУРУ. ИЛЬЯ

В Суру мы поехали втроем, Михаил Дмитриевич, я и Илья. Илья и в Шотовой появился чуть позже нас. Он вообще-то из Каргополя. У него там живут родители, и сам он там жил – не тужил. Но есть и увлечение. Он кровельщик от Бога. Железо – его стихия. Гнутые крыши, маковки, купола и закомары. Он радуется, как ребенок, когда увидит старый замóк на листовой кровле позапрошлого века, кованые квадратные гвозди… Хотя, подрабатывал всем, – и проводником в Кенозере, и программистом. Да и сейчас делает любую интересную работу. Тут вот конкурс в Архангельске выиграл по фотографии. Первый приз – огромный фотоаппарат с дорогущим объективом. Но тогда, шесть или семь лет назад, молва в Каргополь принесла весточку. В Шотовой решили восстановить Храм. А он ведь без куполов! И Илья пошел в Шотову. Пришел. Сказал Михаилу Дмитриевичу: «Ты только железо купи. Все остальное сделаю». Взял и сделал. Да так и остался. Нашел жилье в Карпогорах (вот ведь, проблема – столько брошенных домов, а квартира в райцентре стоит как в Подмосковье, и дом построить – целое бюрократическое предприятие). Какое там жилье – 16 квадратных метров. И сортир через дорогу. Традиционный, системы прямого падения. Женился. Там их уже четверо – двое детишек. «Народились». У него все такое «на-», своеобразное. Детишки народились. Грибы наросли. Он их собрал, а они в том же месте снова наросли. И не испугался он, а «страху натерпелся».

– Да я готов и дальше в храме работать. Я же хочу, у меня от этого душа поет. Только как мне тогда квартиру-то или дом какой? Дети растут же…

Дорога долгая, говорим обо всем. Рассказываю о Грузии, о льготах для начинающих бизнес.

– Эхх, – говорит Илья. Взял бы кто калькулятор и посчитал бы, сколько денег тратится на всех этих контролеров, и сколько украсть можно. Доверять-то экономически выгодней!

По пути, уже около Суры, заезжаем к источнику «Святителя и Чудотворца Николая». Вот тоже явление. Никольский источник был известен еще во времена Иоанна Кронштадтского.

В 2003 местные жители сделали к нему дорогу (километров восемь там) и построили купель. Любят жители Николу-ручей. Миша купается…

6. СУРА. МАТУШКА МИТРОФАНИЯ

Еще в Архангельске, в краеведческом музее, мне посоветовали поговорить с Матушкой Митрофрнией. У них часто проводятся чтения Иоанна Кронштадтского, Матушка там бывает, рассказывает, что да как. Еще есть фонд Иоанна Кронштадтского; вообще, этот святой сейчас удивительно любим и северным людом, и властями одновременно. Редкое для нашего времени сочетание. А наш Шотовский Храм Покрова ведь отец Иоанн закладывал, 500 рублей пожертвовал. Если и не в тему, то общаться все ж надо. Едем сначала на край села, к Никольскому храму. Он совершенно белоснежный, восстановленный и свежевыкрашенный.

Стоило нам выйти на площади, как нас окликнули. Женщина, представилась «хранительницей всего», пока нет кого-то из главных.

– Пойдемте, келейный корпус покажу.

– Нам бы в храм сначала…

Храм внутри такой же белоснежный. Впечатляет, ведь известно, что от него были лишь стены.

Но в углах следы подтеков.

– Тут раньше молдаване работали. Теперь питерская фирма.

– А кто финансирует?

– Да я не знаю. Есть фонд. Есть Отец Николай (священник Иоанновского монастыря – это потом мы вычислили). Они и строят.

– А Матушка? Монастырь в Суре ведь женский, есть настоятель…

– Матушка приходит… Я не знаю ничего… Где найти ее – знаю, но зачем она вам? Пойдемте, я вам келейный корпус покажу.

В углу храма стоит свежий деревянный гроб.

– А это что?

– Копали траншею для кабеля. Изнутри выкопали, а снаружи, прямо у стены, 16 скелетов. Монашки, прямо у стены храма.

– Расстреляны?

– Не знаю, сами смотрите. – С этими словами она приподнимает крышку…

Рядом с храмом свежеотреставрированный келейный корпус и старая пекарня.

Рядом с келейным корпусом – часовенка над могилой родных отца Иоанна.

Из уважения осматриваем гипсокартонный келейный корпус, с унитазами и душевыми кабинками.

– Так где же найти Матушку?

– Ох, настырные. Зачем она вам? Ну ладно. Вон фургончик…

– С надписью «Благотворительный фонд Прииди и Виждь»?

– Да. Он как раз у дома Матушки.

– А фонд? Он финансирует? Это фонд Иоанна Кронштадтского?

– Нет. Нет. Нет. Фонд – это Пригожин. Строит Пригожин. Иоанн это…

– Стоп, стоп.

Снова накрапывает дождь. У дома Матушки пусто. Стучим в дверь. Потом в окно. Откуда-то из глубины доносится мужское: «Слушаю Вас». Как нас можно слушать через череду дверей? «Есть кто живой?» И снова «Слушаю Вас. Что Вам угодно?».

– Мы хотели бы поговорить… О Суре, о монастыре, о его финансировании…

– О, это не к нам. До свидания.

– Вы не поняли. Нам не надо ничего. – После этого «до свидания» вдруг стало ясно, что человека просто достали дурацкими вопросами. – Нам просто обменяться, кроме совета, от Вас ничего не нужно. – Откуда-то из глубины сеней появляется мужчина. Сергей. Миша его знает, передавал в Шотовой в его фургончик нехитрую детскую одежду.

– У нас в Шотовой Храм. Он Покровский, но его закладывал и освящал отец Иоанн. Его сейчас восстанавливают всем миром. Вот и хотели понять, а как Суру восстанавливают. Может, можно как-то вместе? – Сергей явно оттаял.

– Вы проходите в дом. Я сейчас Матушке скажу, она вас примет.

– Может, она занята, устала… Давайте мы с Вами просто поговорим.

– Вы знаете… Вы не отказывайтесь. Матушка – она сегодня здесь. И вы здесь. Просто поговорите, попейте чаю. Может, потом вспоминать будете.

Забегая вперед. Буду. А настроение перевернулось. Вот только что была стена, и вдруг нас не отпускают, настаивают на встрече.

– Матушка ждет.

Матушка Митрофания – женщина в годах. Трудно оценить возраст, но я думаю, ближе к 70-ти. Только есть в ней что-то особенное. Представьте себе питерскую интеллигентную женщину, театралку, с дворянской, полной достоинства, осанкой. Очень приятными чертами лица, по недоразумению лишенного косметики. Одетую в простую монашескую одежду, белого цвета, и платочек, закрывающий волосы на голове полностью. И потрясающей глубины глаза.

– Попейте чайку сначала. Попейте, попейте, не отказывайтесь – голос настолько ласков и доброжелателен, что и вправду нет сил отказаться. И как-то само собой, мы начинаем рассказывать свою историю, про то, что есть такая Шотова, а в ней храм, что заложил отец Иоанн, и что теперешние жители его в меру сил и умения пытаются восстановить, но не знают, что, как, в каком порядке делать, что денег на все не хватает, но мы не жалуемся, просто опыт ваш… у вас же есть средства на Суру? Матушка вздыхает.

– Нет у нас ничего. Но это не страшно. Давайте про вас. Батюшка вам нужен, в Шотову.

– Да мы… мы просили Владыку. Тихона, царствие ему…

– К Даниилу идите, он после Тихона уже девять месяцев. Сходите, сходите. И не через кого-нибудь, – она внимательно посмотрела именно на меня. – Позвоните напрямую. И просто объясните. Он поймет. Поверьте, он доступный, он сразу вас поймет.

– А вот мы с Тихоном договорились… Веркола возьмет нас…

– У Веркольского монастыря знаете сколько забот? Им не до вас. Вам надо, чтобы службы начались.

– У нас бывают молебны…

– Молебен – это треба, не служба. Вам нужен настоятель.

– А мы же его не прокормим, у нас 20 человек приходят на молебен-то…

– Двадцать человек. Двадцать человек. Вы не понимаете, как это много. Поймете. А о том, как прокормить батюшку – вы не думайте. Меня благословили сюда приехать из Питера, я села и поехала. А тут все само образовалось. Где жить, что есть. Если есть благословение, Господь не оставит.

– А службы у нас отец Алексей из Карпогор ведет, может, нам попросить Владыку, чтоб его дал?

– Что выпрошено – то выброшено. Запомните это. Никогда не просите. Что выпрошено – выброшено.

– А еще у нас много чего не готово. Не сделан ремонт во всем храме, есть только… – и мы честно перечисляем что есть. – Можно ли подавать прошение сейчас?

– Когда человек умирает, его куда везут? В больницу, в реанимацию. Надо, чтобы сердце забилось. А одежду всегда купите. Вот телефон Даниила. Позвоните ему. А потом мне. Обязательно позвоните мне и расскажите. Обязательно.

– Матушка, а еще скажите. Люди к вам идут? Ну сами, на субботники, там, или просто помочь?

– Еще Отец Иоанн говорил, что везде его принимают и жертвуют, и только на Родине, в Суре, ждут жертв от него. Приходят. Но больше за деньги и по приказу. И это везде так и всегда. Да и люди не в Храм идут, а к батюшке. Каков поп… Не печальтесь.

Мы вышли на улицу и в нерешительности остановились у калитки. Что-то еще осталось несказанным. Постояли. Вышел Сергей.

– У нас и вправду ведь неважно. Знаете, начиналось все здорово. Отец Николай из Питера собрал у себя настоятелей храмов Иоанна Кронштадтского, их больше полутора сотен приехали, решили возродить его Родину, создали фонд. Начались работы. А потом пришел Благодетель. И сказал, чтоб мы не беспокоились, что он все сделает сам. И вправду начал делать. А потом что-то у него произошло. И он все прекратил. А мы у разбитого корыта. Столько всего начато – и ничего, остановка. И Батюшки обиделись. Нет, не обиделись, просто отошли в сторону. Без них же все сделают. Вот Матушка и старается объяснить им, что без них никак. А знаете, спасибо вам. Мне Матушка сказала, что вы ей очень помогли.

– Мы?

– Ну да. У нас ведь много чего было, а теперь не стало. Вот мы и приуныли, не знаем что делать. А у вас ничего и не было. Вы сами все трудитесь, не унываете. Да еще и советов просите. Спасибо вам. От Матушки.

Мы уже сели в машину, когда Матушка вышла на крыльцо и помахала рукой. Мы еще остановились в центре, у огромного Успенского собора.

Какая же красота.

Полпути мы ехали молча. Конечно, мои диалоги не отражают и части того, что мы чувствовали в разговоре с Матушкой Митрофанией. До меня вдруг дошло. Надо сделать так, как она сказала. Просто потому, что никогда еще в жизни не встречал людей такой простоты и глубины одновременно. Еще я подумал, что ничего нового она не сказала. Просто выделила главное, то, что и так было ясно, но почему-то не было на первом месте. А тут… вот это главное – чтоб сердце билось. А еще я вдруг понял, что не спросил ее ни о чем личном – в голову не пришло. Надо вернуться, расспросить о жизни вообще, поговорить о смысле. Так хорошо, когда во всем сумбуре вдруг появляется четкость. Вот это – главное. А если сердце бьется – можно и об остальном. Раздумья прервал Миша.

– Дак, ты мне с чертежами колокольни-то поможешь, а?

7. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

Да, я о Лявле и Чухчерьме обещел рассказать… В 10—12 километрах от Малых Корел дальше, от Архангельска, есть Лявля. Никольская церковь, 1589 год. Ей повезло – рядом Малые Корелы. Ее взяли в музей, но оставили на своем месте. И толпы туристов в 10 километрах отсюда. Перед ней действующая каменная Успенская, 1804 год, на средства Андрея Харитонова, купца и судостроителя.

Если с трассы Архангельск – Пинега повернуть в Луковецкий и проехать его насквозь, то попадете к храму Василия Блаженного.

Не храму, конечно. Церкви. 1824 год. Колокольня 1783. А между ними стоял десятиглавый Ильинский храм 1657. Он сгорел в 30-х. Это и есть Чухчерьма. Это на Северной Двине.

Золотая осень на Севере – и вправду моя любимая пора. Времена года – это как любовь. Когда она взаимная – она как весна, она веселая, радостная и беззаботная, она в предвкушении бесконечного счастья, которое впереди. Как лето. А вот осень – это как любовь безответная, оттого грустная и более острая, потому что не бывает у нее счастливого конца. За золотым и багровым буйством неминуемо наступит слякоть, унылость и беспросветность осени пред-

зимней, серой и голой. В безответной любви, правда, бывают исключения, а вот у осени – нет. Поэтому когда наступает бабье лето, радость от его прихода всегда соседствует с подступающей хандрой, – сейчас всё облетит, и нате вам. Как воскресенье в обед – еще и выходные вроде, а мысли уже в буднях. Возможно, поэтому я и придумал себе, что в эти дни надо быть на Пинеге. Там-то подступающая сквозь осенние краски хандра утонет в грустной красоте. Грустной от этой горящей золотыми окнами бабьей осени Русского Севера.

сентябрь 2011

Небылицы о Любви

ХВОСТИКОМ МАХНУЛА
грустная рождественская сказка

«Быть может, Бог сотворил пустыню для того, чтобы человек улыбался деревьям».
Паоло Коэльо, «Алхимик».

Лёлька,[10] зацепив за торчащую лыжу очаровательного толстого рождественского бюргера, сидевшего в мохнатой шапке на краю полки и докуривавшего уже свой уголек благовоний, конечно же, здорово расстроилась. Игрушка смачно шмякнулась на кафельный пол, разлетелась по всей кухне – руки-лыжи-ноги – и исчезла по частям под стульями и шкафами. Казалось бы, она не должна расстраиваться – она принадлежит уже ко второму в семье поколению людей, которых в принципе не ругают за разбитые вещи. Да и не виновата она вовсе, – это я так посадил бюргера-курильщика, что за торчащие лыжи невозможно было не задеть. Впрочем, я – как раз первое поколение, которое никогда не ругали за разбитые вещи, поэтому угрызений совести я не почувствовал. «Собери и положи ко мне на стол, я склею», – только и сказал я, но все же отметил, что Лёлька все равно сильно расстроена. Понравился, видать, ей незамысловатый рождественский бюргер-курильщик…

***

Я допивал еще свой кофе в берлинском Тегеле, куда приехал сильно заранее своего рейса, чтобы встретиться со старинным приятелем, когда раздался звонок.

– Ты где? – услышал я недоуменный, но совершенно узнаваемый по только ей присущему акценту, голос в трубке, – Я тут смотрела на табло. Ты же из Кёльна? Самолет уже час, как сел, я тебе звоню, а ты трубку не берешь… Я посмотрел на экран телефона. В самом деле, пара пропущенных. Эх, Густи…

Эта женщина всегда выделялась среди всех. Среди говорящих по-русски немцев – необыкновенно правильным и очень богатым русским языком, правильным по книжности составления длинных и оборотистых предложений, по огромному, большинству соотечественников неподвластному, запасу русских слов. Среди русских – по невероятному, неисправимому, несмотря на русское МГУ-шное искусствоведческое образование, русского мужа и троих детей, свободно и без акцента говорящих на обоих языках, акценту. Потому я и не спутал бы ее голос ни с чьим другим. Честно говоря, расставаясь с ней четыре дня назад, я не придал никакого значения ее фразе, что она непременно найдет способ передать мне рождественский подарок, хотя и встречались-то мы с ней эти четыре дня назад на бегу и то только потому лишь, что она не была уверена, сможет ли повстречаться со мной сегодня. «Так, безделушка, – сказала она тогда, – но тебе и детям понравится».

– Какой самолет, Густи, из какого Кёльна? Я же на машине, мы же ее с тобой вместе брали тут, в прокате, четыре дня назад.

– Я забыла…

[10] Этот рассказ, как и следующий, был опубликован в первой книге альманаха «Писатель года 2015» под вымышленным именем – Николай Зоренин. Кроме того, имена персонажей рассказа были тогда тоже заменены на вымышленные. Поскольку Зоренин, как псевдоним, не прижился, я решил его «убить», а персонажам вернуть их подлинные имена.

«Я забыла». Когда-то, уже больше трех лет назад, практически с этого слова начал я первый рассказик[11] о небольшом селе, в котором доживает свой век Сашкина мама, Людмила Сергеевна. И теперь, когда я хочу рассказать о Густи, я почему-то снова начинаю с этого слова.

***

То, что Густи – это ее настоящее, «паспортное» имя, я узнал гораздо позже нашего знакомства, да что там – позже Сашиной смерти. При жизни Саши все ее называли Августа, все, за исключением самого Сашки, который упорно звал свою жену «Густи», и не я один считал, что это – ласковое от «Августы». И только потом, когда для каких-то дурацких формальностей мне потребовался ее паспорт, в нем я и прочел, что она именно Густи. Как и ее девичья фамилия была мне неизвестна, иначе я бы точно уж нашел с Сашкой тему для еще одного из многочисленных наших разговоров – фамилия известного в свое время спортсмена из ГДР. Но она для всех, в том числе и в Германии, – Августа Южанинова, давным-давно. Черт, правда, очень давно. В наступающем будет уж 10 лет, как Сашки-то нет…

Я и подумать не мог, что короткая встреча, задуманная, как «на бегу», четыре дня назад, станет такой эмоциональной, что продлится она больше четырех часов, и что потом, сидя за рулем авто, я буду ехать один по хваленым немецким автобанам нарочито медленно. Совсем не так, как 10 лет назад, с Сашкой вдвоем. Поскольку в голове уже будет крутиться этот рассказ.

***

В тот зимний февральский день 2005-го в Германии было солнечно и сухо, и ничто не предвещало резкой перемены погоды. Мы ехали ранним утром по чистому асфальту пустого скоростного автобана из Берлина в Ганновер на Сашкином новеньком «Мерсе». По каким-то причинам Густи не смогла тогда поехать с нами на машине, и мы должны были подхватить ее в Ганновере на вокзале.

Я не знаю, за рулем ли, за кофейной ли стойкой Тегеля или глядя на Густи в такси в сегодняшнем 14-м, я пытался сосчитать, а сколько же раз я вообще встречался с ней при Сашкиной жизни? То, что не 10 – это точно. Скорее пять. Та, Ганноверская, было тогда третьей или четвертой.

– Ты когда-нибудь ездил на машине 200 в час? – Сухой асфальт, отсутствие жен, наличие крутой скоростной тачки и немецкий автобан, вкупе со взаимной тягой к быстрой езде, явно провоцировали нас на подвиги.

– Да, – потупив глаза (от яркого не по-зимнему солнца, подумалось мне тогда) ответил я. Эх молодость…

– Сейчас 200. Не чувствуется, да? Давай 250? – Машина послушно набирала скорость.

– 250. Но на такой скорости никакая реакция уже невозможна…

– Ага. Сбрасываем плавненько. Густи только не говори, она злится.

Куда-то исчезла молодецкая удаль у обоих.

– Правильно делает…

А на обратном пути, когда мы были уже втроем, вдруг поднялся сильный ветер, пошел дождь, плавно переходящий, по мере быстрого понижения температуры, в снег. И невероятно ровное покрытие немецкого автобана стало понемногу превращаться в столь же идеальный каток, лишенный ледяного покрытия лишь в тех местах, где вырывающийся в поворотах на дорогу ветер сгонял не успевшую замерзнуть воду с шоссе. День, проведенный в Ганновере на выставке, был по-рабочему тяжелым и насыщенным, уже вечерело, и Сашка явно осторожничал, что я начал потихоньку нервничать – мне-то надо было еще и в аэропорт. Густи сидела сзади.

[11] См. «Золотые окна» в этой книге.

– Нет, не могу, глаза слипаются. Скользко очень. Сядешь? – Чёрт меня дернул согласиться. Хотя я уже откровенно ерзал от излишней его неспешности.

Конечно, не 200 и даже не 100. Но я шестым чувством понял, что сейчас, вот в этот поворотик, надо было входить по Сашкиному осторожно. И предательский лед тут только кусками… И автоматика суперсовременная – раз сама не удержала машину, то ничего и сделать не даст. И когда нас закончило крутить и уткнуло носом в уже непонятно откуда взявшийся у отбойника снежный сугробик, мы только переглянулись. Тогда сидевшая всю дорогу молча Густи и заговорила.

– Быстро из машины. – Вот так, с точкой, а не восклицательным знаком на конце. Громко, четко, но спокойно, как приказ, не предполагающий раздумий, а не крик и не истерика. Ну конечно, надо выйти. Я пошел вперед и наклонился, по доброй российской привычке, над бампером в попытке осмотреть возможные повреждения.

– Назад. – Также четко и спокойно. – За ограждение. – Она уже успела поставить сзади фонарь. Понятно, что их этому учили – поведение немцев при аварии на автобане, наверное, чем-то напоминает поведение советских школьников 70-х при ядерном взрыве.

Но почему-то именно момент этой аварии встаёт у меня перед глазами всякий раз, когда я вспоминаю период в несколько лет сразу после Сашкиной смерти.

***

Они оба учились в том, старом и добром еще советском МГУ. Он – социолог, смазливый, окруженный внезапно свалившимся на него вниманием женского большинства гуманитарных факультетов северянин, подтянутый, спортивный и очень эрудированный. Она – культуролог и искусствовед, пораженный многопластовой и совершенно необычной культурой Русского Севера, изучать которую она и приехала в Союз. А тут еще такой её (культуры) представитель…

Свадьбы было две. Сначала одна – для русских, в закрытом в те времена для иностранцев маленьком северном городке. Вторая – для немцев, в слегка приоткрытой для наших соотечественников (но только не для жителей этого северного городка) Восточной Германии. Так и мотались туда-сюда, пока Сашка не перевелся в Университет Гумбольдта. Тогда и переехали в Берлин, вместе с родившейся еще в Союзе Юлькой. Так что Юлька у них с самого начала была русской – и по паспорту тоже. С ней мы тоже подружились уже потом, после смерти Сашки. Лазали с ней вместе на купол еще не отремонтированной тогда сельской церкви и вместе на двоих получали выговор за богохульство от Людмилы Сергеевны.

– Ну, он-то – ладно, приезжий, – выговаривала она ей, показывая на меня пальцем, будто это я – немец, – А ты-то, ты! Ты ж наша, местная! Чего удумали…

После университета Сашка, как, наверное, любой русский, оказавшийся в Германии, начал заниматься бизнесом. А уже через несколько лет упала стена, и всякие специфические и сложные машины, которыми он сначала торговал, а потом и производил в Германии, можно было везти в Россию. А она всегда изучала Россию. Вот как интересно: он – русский, но его профессиональный интерес оказался в Германии. А ее профессиональный интерес – в России. Что-то мне кажется, что именно она была инициатором всегдашней традиции проводить лето с детьми на Севере, у Сашкиных родителей. Она стремилась привить своим детям интерес к этим местам, культурологический, искусствоведческий. А он просто любил их, и все. Юлька, кстати, потом тоже стала культурологом. Но только другим – сердце ее покорил Древний Египет.

***

Весной 2004-го в области, которой принадлежал закрытый северный военный городок, случились губернаторские выборы, и победивший на них не очень известный политик стал формировать молодую амбициозную команду. Сашка стал советником по внешним связям.

А в июне получил предложение стать замом по экономике. Тогда я и встретил ее в предыдущий (Второй? Третий?) раз. Мы приехали в отпуск, поездить по Северу, а Густи приехала к принимающему решение идти или нет на госслужбу мужу. Собственно, он-то решение принял. А она методично, скрупулезно, по-немецки педантично… обходила школы.

Белым летним вечером мы сидели в кафешке. Мы с женой и Густи. Сашка уже погрузился с головой в работу и здорово опаздывал.

– Я не знаю… – сказала тогда Густи. Я обошла все школы, и в городке, и в областном центре. – Если Саша (она никогда не называла его иначе, не Сашка, не Александр – только Саша) будет здесь четыре года, мы же тоже должны быть здесь? Я хочу понять, в какую школу можно отдать детей… Но я все уже обошла.

Кроме Юльки, которая уже заканчивала школу и сама пыталась определять свою судьбу, была еще средняя Александра – «Сашенька» (в отличие от «Саши»), которой с трудом давались школьные предметы, и девятилетний Андрей, очаровательный, огненно-рыжий, стремительно подрастающий парень. Вошедший в кафешку Сашка сразу переключил внимание на себя, стал что-то рассказывать, посетовал на то, что на Соловки даже через архангельских друзей не попасть – все места в самолетах проданы… Густи расстроилась.

– Ну ты же в администрации. Организуй как-нибудь?

– Густи, ну как ты себе это представляешь? Я позвоню в авиаотряд и скажу, чтоб пол-самолета освободили? Ну, ладно бы, одно место найти…

– Конечно, одно – сказали мы, переглянувшись, с женой. – Мы же там были, – И Густи расцвела. Она там тоже была, и не раз, но… Это потом мне стало понятно. Сашка принимал решения быстро, молниеносно. А она, если не знала – откладывала. Не говорила ни да, ни нет и переключалась на что-то другое. Пока решение само не приходило.

Через пару дней после её возвращения с Соловков Сашка нам сказал, что Густи не переедет из Берлина, поскольку среди тех всех школ области, что она обошла, нет ни одной, в которой она могла бы разрешить своим детям учиться.

***

Эти две самые близкие Сашке женщины – мама и жена – невероятно похожи. Несмотря на то, что одна – северянка из крестьянской семьи, а другая – немка из семьи на всю Германию известного человека. Впрочем, может просто похожи тем, что именно они настоящие женщины. Настоящий сильный пол. Нет, конечно, настоящая женщина может и поплакать, и сковородкой запустить, и накричать, и надуться. Но это так, в обычной жизни, в которой мужчины считают сильным полом себя. А вот когда наступает реальная беда, когда надо собрать волю в кулак, когда надо сражаться за само существование, даже не свое, а своих самых близких, когда вдруг исчезает любимый человек – вот тогда сильным полом становятся настоящие женщины. Это я вам как мужчина говорю. Мужик может дать себе поблажку. В лес уйти. Телефон отключить. Напиться, наконец.

«Когда Саши не стало, удар на себя приняла она», – написал[12] я о Людмиле Сергеевне, – «всегда согнутая буквой „Г“, она как будто даже распрямилась навстречу этому удару. Стиснула зубы. На похоронах приняла на себя все заботы, отдавала четкие и твердые команды. Вот и не прошло бесследно».

Иной удар приняла на себя Густи. И тоже распрямилась навстречу этому удару. Сашкин бизнес. Заказы на заводах. Графики поставок. Таможни, транспортные компании. Бухгалтерия, налоговые. Наложенная на немецкую основательность российская специфика. Встречи с производителями там и покупателями тут. Прибыли и бонусы. Переданные в управление пришедшим на госслужбу Сашкой акции и собственность. Непорядочность одних партнеров

[12] Рассказ «Золотые окна» в этой книге.

и нежелание других понять, что ей, как искусствоведу, как культурологу, которому гораздо ближе всех бизнесов поморская *гово́ря*, нужно время, нужен хоть на день, но билет на Соловки, для принятия решения в той сфере, которую она еще месяц назад не понимала…

Поступление старшей Юльки. Жуткое отставание от сверстников Сашеньки в школе. Пубертат Андрюши.

И это сразу, через неделю, через месяц после смерти мужа. И тоже не бесследно.

Она падала в обмороки. Она засыпала во время переговоров. Она забывала слова и целые эпизоды своей жизни. Сейчас мне кажется, забывала неосознанно, но умышленно. Ее предавали и забывали бывшие Сашины друзья. Когда стало попроще, она взялась за себя и стала лечиться. Она выдержала.

***

Я много раз приезжал после Сашкиной смерти к его родителям. Всегда останавливался в доме Людмилы Сергеевны и Петровича. Последние разы Людмила Сергеевна выходила к ужину, сидела, иногда поддерживая разговор, иногда отвечая невпопад, но все чаще и чаще разглядывала ложку или кусок хлеба и вполне себе вразумительно произносила: «Я же знаю, для чего это. Я только забыла, как». А потом я завис в командировках, экспедициях и других измерениях, сочиняя небылицы о любви, и больше года тут не появлялся. Появился в мае…

Мы просидели с Петровичем полночи. Он пил, хмелел, плакал, жаловался, что нет сил с утра коз доить… Людмила Сергеевна к нам так и не вышла.

– Она не выходит уже. Как ребенок малый – всхлипнул Петрович. – Всё с ложечки, всё под себя…

***

– Я тебя встречу, – обрадовалась мне Густи, когда я позвонил ей и сказал, что буду в Берлине.

– Я один день проездом, из одного аэропорта в другой, – Это я такую себе логистику придумал, прилететь в Шонефельд, а машину взять в Тегеле, ибо там ее и сдавать потом. – Но мне надо сразу ехать. Может, в субботу, на обратном пути?

– Я не знаю, что будет в субботу. Я тебя встречу, в конце концов, по дороге поговорим. Только ты мне еще раз позвони, могу забыть.

Она встретила меня в аэропорту. «Я прошла недавно курс лечения, после которого мне снова можно водить. Но я боюсь пока, поэтому я на такси».

Мы долго ползем по берлинским пробкам с юго-востока Берлина на его северо-запад. Когда-то мы с Сашкой могли вот так, сидя в машине или кабаке, говорить обо всем – в основном, о жизни, детях. Тогда я не знал, о чем я мог бы говорить с Густи.

***

– … Ты знаешь, я запретила себе думать о плохом. И ты запрещай. Нельзя думать о плохом, иначе это плохое в тебе так и останется…

– … Ты не представляешь, какой у вас язык. Вы, русские, этого не в состоянии понять. Настолько богат, настолько много там оттенков… такого нет в немецком. Мы очень часто говорим по-русски между собой.

– … А я увлеклась сейчас старым русским языком. И, ты знаешь, стала его с санскритом сравнивать. Я тебе пришлю лекции, обязательно. Вы сами не знаете про свой север, а это сам северный язык говорит, что там корни, оттуда всё…

– … А с негативом, с депрессией можно еще пением справляться. (ох… однажды я был свидетелем разговора только-только заболевшей Людмилы Сергеевны с соседкой. «Ты какова? – Пою!»). Только когда я на немецком пою, я, наоборот, начинаю беспокойство испы-

тывать. И тогда сразу на русский перехожу. Русский мелодичный, он от души. Немецкий резкий.

(Я тут не удержался, вставил, что надо бы и мне парочку немецких песен выучить, для придания себе тонуса, но Густи строго посмотрела).

– … Я с некоторыми партнерами не стала воевать. Да пусть их. Ну, присвоили Сашино. Главное, мы живы, главное – здоровы. Только хорошее…

(Здоровы…)

– …А Сашеньке операцию сделали весной. Ее отставание не просто так было. Оказывается, опухоль была. Нет, сейчас все хорошо. После операции облучение и химию назначили, но я не стала делать. Это ведь убивает силы. Это убивает и больное, и здоровое. А надо убивать только больное, а чтоб здоровое росло и укреплялось. А это улыбка. Надо только радоваться. Нельзя в уныние впадать, только радоваться. И петь. Ты знаешь, мы только что с ней прошли обследование. Там все хорошо. Врачи сами удивляются и радуются…

– … А Юля в Лейпциге. У нее много работ уже по Египту. Она такая умничка. Но она всегда была с нами, особенно, когда Сашенька болела.

– …Андрюшка взял паузу в учебе на год. Чтоб подготовиться и дальше учиться. Андрюшка очень хороший…

– …Знаешь, меня Сашины друзья не любят. Наверное, потому, что мне Саша показал, какими бывают мужчины. Я какое-то время думала, что это все мужчины такие. Я ждала, что все мужчины будут ко мне так относиться, как Саша. А они не такие. Нет, они хорошие. Просто мне очень повезло…

– … Но у нас очень дружная семья теперь. Нет, крепкая по-русски. Мы все сжались вместе.

(сплотились… нет, не поправил. Единственная, похоже, оговорка)

(мы уже взяли и машину напрокат, уже вернулись в центр Берлина, уже час сидели в кафешке, а она говорила и говорила. Наверное, ей нужен был русский слушатель, способный понять и, если и не оценить, то хотя бы искренне поверить в то что она говорит)

– … А мы были летом на севере, у родителей. Знаешь, я к этой поездке готовилась. Я научила Андрюшу готовить и стирать. Ну, там же есть и плита, и машинка.

– …А потом я сделала Николаю Петровичу паспорт и немецкую визу.

(мне кажется, у меня слегка закололо сердце в этот момент)

– … Мы приехали, и Андрюша попросил деда научить его доить коз и варить еду собакам. Нет, ты не думай, мы три дня учились. Папа…

(она иногда называет Сашкиных родителей папа и мама, а иногда по имени и отчеству)

Папа удивился, зачем ему, но Андрюша молодец. Сказал, что очень хочет уметь все, что умеет его дед и умел его отец.

– … Я сама показала Андрюше, как ухаживать за мамой. Как кормить, как мыть, как пеленки менять.

(О Господи! Высокий 19-летний огненно-рыжий немецкий парень в русской деревне с больной, лишенной уже разума бабушкой)

– … Билеты я ему показала за два часа до поезда. Я знаешь, как подгадала? Чтоб в ночь поезд, потом сразу утром на самолет в Москву и через два часа в Берлин. Дорогие билеты получились. Он, когда понял, что происходит, попытался отказаться. Но я ему сказала, сколько денег пропадет, и он смирился.

– … Представляешь, он меньше, чем через сутки после того, как узнал, был уже в Берлине!

– …Мы все вместе с ним были, и Юля, и Сашенька, и я… две недели… Ему так надо было немного отдохнуть, немного порадоваться!

Наверное, я в этот момент подумал… Или позже…

***

А через четыре дня она снова встретила меня в Берлинском аэропорту, забыв, что я на машине и только потому угадав рейс, и подарила смешного бюргера-курильщика в мохнатой шапке.

А вечером того же дня я сидел за своим столом, клеил его руки-лыжи-ноги по кусочкам и думал о том, как хорошо было бы взять все то, что ненароком упало и разбилось за все эти годы, да склеить…

Нет, конечно. Не о том я думал. И в кафешке в центре Берлина, и за рулем неестественно медленно едущего автомобиля на скоростном немецком автобане, и на посадке в Тегеле, и в самолете. И, особенно, сидя за столом с тюбиком клея.

Господи, откуда в этой хрупкой немецкой женщине столько Русского Духа?

январь 2015.

Пазл
(Стихи о Любви, подражание Кочеткову)

«Все смолкнет: страсть, тоска, утрата…
О дне томящем не жалей!
Всех позже смолкнет – соловей,
Всех слаще песни – у заката».

Александр Кочетков.

Как странно[13]. Все знают Кочеткова. Нет? Знают, знают. Впрочем, знают одну лишь балладу, которая звучит в «Иронии судьбы». Одно лишь Судьбой продиктованное стихотворение….

« – Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, —
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой».

…наверное, самое проникновенное стихотворение о любви в 20-м веке.

То, что писал Кочетков о любви, – было о Любви Настоящей. Потому и смотрел он в своих стихах на нее из невозможной глубины и с невероятной высоты одновременно. «*Всех слаще песни – у заката*»…

Закат давно уже отыграл своими морозными красками над всё еще по-новогоднему подсвеченным Новым Арбатом, поиграл лучиком на золоте «Воскресения Христова» в Кадашах, померк в вечернем «псевдозолоте» купола Храма Христа Спасителя, и совсем затих над Сити, уступив место огромным электронным часам на башне, цифр времени которых с такого расстояния мне все равно не рассмотреть. А я все стоял у окна, пытаясь подставить нос поближе к его открытой для щелевого проветривания раме. Сколько стоял? Да Бог знает. Трамвайные пути ведь переложили, поэтому и грохота теперь такого нет. Ан нет, шумит трамвай, значит, нет еще двух. Но и двенадцати уже нет – иначе бы шевелился кто в квартире, ходил бы, да выключателями щелкал. Так вот просто часы взяли и потерялись – то ли двенадцать ночи, то ли два. Да нет, тут не часы потерялись… Вот, смотришь в окошко чуть назад – и нет никаких часов над Сити. Еще назад – и Сити никакого нет, а там, глядишь, и нитридо-титановый блеск купола огромного собора исчезнет, обнаружив облако пара над знаменитым столичным бассейном. Только Кадаши останутся на месте, уступив свое золото зеленой советской краске.

В такие минуты становится совершенно очевидно, что действительно уже бóльшая, самая насыщенная, самая безалаберная и безоглядная часть жизни – этакая гонка со временем – уже позади. Нет, днем-то мы молоды, строим планы и спешим куда-то, мечтаем, придумываем… И даже на каток бежим с получившим уже паспорт самым младшим ребенком. Сомнения, конечно, возникают, например, когда, не рассчитав скорость, плюхаешься всем телом на лёд так неуклюже, что прохожие со всех Сокольников спешат на помощь. Но только, стоя вот так, у окна, за которым вместо полинялой зелени «Воскресения» на фоне пара – его ослепительное золото, а в нем – отражение электронных часов на башне высотки в Сити, и понимаешь, что ты уже дед со всеми атрибутами – взрослыми детьми, полным набором внуков и массой

[13] См. примечание к рассказу «Хвостиком махнула»

еще соответствующих прибамбасов. И трамвай снова не грохочет, а тихонько, как в детстве, постукивает колесами на стыках.

Там, в той истории, которая побежала вдруг в мыслях куда-то назад, совсем в другое измерение и в другой город, тоже был трамвай. И так же, как только что прошедший под окнами, он не издавал тогда пронзительных, призванных разбудить все живое, скрежещущих звуков. В том, другом городе другого измерения, рельсы пели. Греметь они стали, когда их спрятали в асфальт и бетон, а вновь перестали теперь, когда укутали резиной. А там они лежали на поверхности, шли сбоку от проезжей части чуть ли не единственной асфальтовой улицы, пересекая насыпи грунтовых переездов уходящих поперек пыльных переулочков частного сектора. Вот странно – я совершенно не ассоциирую свои детские воспоминания с трамваем, хотя тот дом был вторым от трамвайного перекрестка с пыльным переулком.

Трамвай снова за окном? Нет, похоже, шаги. Прокололся…

– Ты кууууриииишь?! – Что больше в этой фразе, удивления, обиды, гнева?

– Нет, – испуганно и почти искренне говорю я и не понимаю, прятать ли мне огонек сигареты в руке, или нет, раз уж застукали. Как так получилось? Сам не знаю. Твои глаза округляются еще больше. Наверное, должно пройти несколько десятков лет, чтобы, наконец, сказать тебе, что такую вот я тебя и люблю, непосредственную, растрепанную, сонную, и совершенно естественную. Боже, женщины, что же вы с собой делаете? Убиваете свою настоящую красоту какими-то макияжами, диетами, прическами, нарядами, словно не понимаете, что мы десятки лет только и ждем, чтобы вы вышли из спальни с круглыми ото сна, удивленными и оттого самыми искренними, самыми настоящими и самыми любимыми глазами.

– Ты не куришь! – громко и уверенно заключаешь ты. И для придания самой себе еще большей уверенности добавляешь: – Это не ты…

А я, по-мальчишески пряча взгляд, неуверенно тебе обещаю:

– Я больше не буду. – Только, в отличие от застуканного мальчишки другого города в другом измерении, я искренне в это верю. Тому мальчишке из пыльного переулка не страшно было – ну, застукали с сигаретой – отругают, только и всего. А вот это твое «это не ты» – совершенно ужасная угроза, особенно в сентиментальном состоянии меж двух измерений. – Нет, я, я! Я больше никогда так не буду!

– Не надо. Ты не куришь. Ты не пахнешь сигаретами. Ты – другой, это не ты!!! – и ты, повернувшись, снова уходишь в спальню.

– Спи, малыш, спи. Я сейчас приду. И больше не буду. Это я… – говорю я шепотом тебе вслед, совершенно не уверенный, во сне ты пришла, или наяву, и если во сне, то в чьем.

Через трамвайную линию и единственную асфальтовую дорогу от того дома был офицерский городок. В том измерении он был подчеркнуто чистым, асфальтовые дорожки внутри покрашенного забора были одеты в бордюрный камень, тоже покрашенный, в шахматные цвета – черный-белый, черный-белый. Ворота забора не были закрыты. Конечно, там же не только дорожки, там еще и аллея, ведущая к Дому Офицеров.

В детской книжке по занимательной физике был забавный рассказ о машине времени. Знаете, как сделать? Берете приемник и включаете его. А потом летите прочь со скоростью, большей, чем скорость звука. И тогда вы догоните ноты, слова и аккорды, улетевшие уже куда-то вперед, ставшие простыми волнами. Так они и пронесутся вновь через ваши уши, только в обратной последовательности. Здорово, да?

Воображаемые картинки несутся со скоростью звука: вот широкоплечий седой дед везет меня, мальчонку пяти лет, на трамвае, от вокзала к дому в пыльном переулке, в калитке которого низкорослая пожилая бабка с грубыми чертами лица встречает, берет нежно за руку и гладит по голове. А дед просто уходит, не взглянув на нее, только лишь, как мне теперь кажется, подмигнув мне на прощание… А потом всё исчезает. Аллея Дома Офицеров вдруг наполняется какими-то людьми с лопатами, на которые из-под пятящегося задом катка вылетает

асфальт. Люди эти разбирают крышу и складывают листы обратно на грузовики. Дом офицеров расползается, как карточный, и снова, сам по себе, собирается. Крыша становится на свое место сразу вслед за яркой вспышкой, за которой, из ее центра, взмывает вверх что-то тяжелое, черного цвета, с торчащим вверх стабилизатором, что, замедляясь, поднимается к летящему задом наперед самолету с черным крестом и исчезает в его брюхе.

…анйоВ

А потом снова веселые люди бегут задом наперед вприпрыжку к Дому Офицеров и начинают вполне себе естественно танцевать на его открытой площадке под музыку, которую, даже звучащую наоборот, легко уловить.

Рио-Рита, Рио-Рита…

Вот они, хватит отматывать. Высокий статный парень в только что сшитой, с иголочки, форме. Широкоплечий красавец хорошо-за-метр-восемьдесят, как лихо он ведет свою даму – девчонку ростом чуть больше полутора метров. Нельзя сказать, что красавицу, но что-то есть в южнорусских девчонках эдакое… Нет, не казачка, селянка, со слегка грубоватыми, но по молодости достаточно милыми чертами лица. А он любуется, похоже, больше собой – красавец, хоть и сирота, но добившийся того, что он в такой форме кружит в танце такую девчонку…

Рио-Рита, Рио-Рита…

Где у них была свадьба, и какая? Они оба – из ближнего к городу села, они оба носят одну фамилию – в их селе ведь все носят эту фамилию. Она – из большой и обеспеченной крестьянской семьи, а он – из батраков, бывший сирота, попавший на «элитную» службу. Поэтому он теперь в такой форме. Может, в селе была их свадьба, удалая, по-южному разухабистая? А может, ее и вовсе не было. Да разве это важно? Важно быть вместе, наслаждаться друг другом, стремиться провести в объятьях любимого человека хоть на секундочку, но больше, чем можно.

Господь, похоже, специально придумал разные стадии любви. Сначала – это влюбленность, переходящая со словом «да» в эйфорию невероятного счастья, переводящего физическое влечение на новую ступень – доступности и желанности. Настоящая любовь, несмотря на все обещания «о вечности», к этому моменту еще только начинает вылупляться из этой эйфории, рождаться в виде первых проблем, конфликтов, стычек, притирок и взаимной на них реакции… Но каким бы ни был конфликт в этот момент, он непременно погаснет в лучах гораздо более мощной по своей светосиле вспышки страсти. Вообще говоря, уже ставши дедом, я всерьез уверился, что именно физическая близость – тот самый универсальный защитный механизм, позволяющий уберечь зарождающуюся настоящую любовь от случайного разрушения запущенной в порыве гнева сковородкой или телефоном: стоит лишь приблизится к визави на расстояние, достаточное для прохождения разряда, и осколки разбитого только что о стенку за вашей головой предмета гнева останутся лежать там до утра.

– Ты опять все перепутал. Стареешь…

– В смысле? – я совсем не удивляюсь ни тому, что ты сидишь в своем любимом кресле, вполоборота к Кадашам, с бокалом вина и сигаретой, ни тому, что ты комментируешь мои мысли.

– Сначала надо помириться. Страсть может случиться только после примирения. Ты просто забыл…

– Дед… А, может, давно не ссорились, – усмехаюсь я и перевожу взгляд с башенных часов на твое любимое пустое кресло. Ничего удивительного, я же всегда с тобой разговариваю, даже когда тебя нет рядом.

– Я знаю. Я же тебе всегда отвечаю.

– А что, от перестановки слагаемых… – это тоже свойство наших с тобой разговоров: фразу можно до конца не договаривать.

– Принципиально. У тебя получается, что двое собачатся, а потом, как животные, набрасываются друг на друга. Ты же о любви, а не об инстинктах?

– О любви.

– Значит, сначала надо помириться.

– Права…

– Добавь, пожалуйста, «как всегда».

Господи, как все изменилось? Да разве нам, двадцатилетним и только-только поженившимся, могло когда-то прийти в голову провести время не вместе друг с другом? Переночевать порознь? Ну и пусть, что с утра надо ехать через весь город, ну и пусть, что не выспимся, все равно не выспимся…

А потом окажется, что вас уже не двое, а трое. Как это произойдет? Сказать честно, не знаю. Я вообще не знаю, как влюбленные, молодые, только что соединившиеся люди, могут что-то планировать? Карьера, учеба…. Чушь какая-то. Или не любовь. Не планируется первый ребенок никак, его просто ждут. Ждут с нетерпением. Это даже не ребенок – это та самая Любовь рождается, наконец, из влюбленности, эйфории и желания, на свет.

Да и второго не планируют…

Я не знаю, когда в том, другом городе другого измерения, появился этот дом в пыльном переулке частного сектора, с большим яблоневым садом; до появления мальчишек – погодков, или после. А появились они с каким-то удивительно маленьким перерывом – всего в год, один за другим. Потом по жизни они пойдут совсем вместе, как близнецы, хотя чисто внешне будут разными – один высоким, статным и темноволосым, другой – низким и немного полноватым, с волосами пепельного цвета и грубоватыми чертами лица селянки. Они будут иногда отвешивать друг другу тумаков, когда никого рядом нет, а при появлении «внешнего противника» будут самозабвенно драться, встав спиной друг к другу. А отец будет любоваться ими, напуская на себя строгость и даже беря в руки ремень, например, отнимая рогатку, которой было разбито стекло в доме наискосок, через пыльный переулок, в котором живут их ближайшие друзья и дальние родственники. И сидя на скамейке перед домом, они будут с по-прежнему красивой еще женой обсуждать, что так и не знают, кто из пацанов разбил это стекло, за которым в соседском доме подрастает их ровесница, девчонка Нинка. И в школу они пойдут вместе, в один класс, в тот год, когда у них родится сестренка.

Только сестренка родится без отца. Самолет не пролетит еще над Домом Офицеров и не уронит еще свою страшную бомбу на его крышу, но он-то – помните – уже в форме. Для них будет все наоборот. Сначала он уйдет на фронт, а потом начнется война.

Тот городок мог бы носить теперь звание города-героя. Он мог бы вообще не пустить фашистов к себе, поскольку создал на подступах глубокую оборону. Но (официальная версия) Ставка решила, что немцы могут повернуть к Москве, и отвела войска. Полгорода немцы захватили, а вторую – сравняли бомбами с землей. Граница между этими двумя половинами прошла как раз по трамвайной линии, и дом в пыльном переулке оказался на краю зоны оккупации, а офицерский городок пролежал потом в руинах еще много послевоенных лет, поставляя неразорвавшиеся снаряды сверстникам наших пацанов, беззаветно разбивавших их и бросавших в костры, пополняя и так уже переполненную армию убитых и искалеченных…

«Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли».

Она бежала из захваченного города, с двумя маленькими пацанами, шести и семи лет, и годовалой девчонкой на руках. Бежала от бомб и голода, бежала туда, куда она знала, что

можно бежать, – в то село, откуда увез ее высокий статный парень в форме. Это в официальной версии их бегство будут называть потом эвакуацией жителей и отводом войск.

«Отвод войск» – это когда наши танки идут по пыльным переулкам частного сектора. Но вот в небе слышится гул моторов, и тогда, чтобы не стать мишенью готовых вот-вот появиться «мессеров» и «юнкерсов», танки прячутся. Ну, и как спрятаться танку в частном секторе города? Повернуть башню стволом назад, поддать газку и… въехать в дом. Так, чтобы стены упали, а крыша «села» на танк сверху, – и тогда он для самолетов становится невидимым. А потом, когда немецкие самолеты уйдут, продолжить свое движение на восток. Впрочем, все равно потом на дома сыпались бомбы, а частный сектор все меньше и меньше походил на то, что было раньше городом. Поначалу, заслышав гул моторов танков и самолетов, она пряталась с детьми в погребе.

Южнорусские погреба в истории той войны достойны, наверное, отдельного рассказа. Здесь, на юге, с его жарким летом, погреб должен быть большим, чтобы сохранить припасы зажиточного и запасливого, хоть и горожанина, но, по сути, всё же крестьянина, и глубоким, чтобы обеспечить прохладу. Впрочем, нам важно лишь, что они велики по размерам (если и не несколько комнат, то уж парочка-то точно), глубоки и, что особенно важно, имеют, в большинстве своем, вход не из дома. Из сарая, пристройки, со двора. Поэтому, когда дома уже нет или когда он занят врагами, можно жить в погребе.

Когда наш танк «спрятался» в доме нашей селянки, она с детьми спряталась от него в погребе, вход в который был из дворового сарая. Но, выезжая, танк подмял под себя и его, завалив вход обломками. И как знать, смог бы я написать эти строки, если бы глуховатый древний дед из дома напротив не почуял бы неладное и не разобрал бы завалы над входом в это убежище. Вот тогда, выбравшись на свет, она и решила бежать.

Понимала ли она, что это на запад, по оккупированной немцами земле? Рассказы младшего пацана о той, спонтанной «эвакуации», остались лишь отрывочными из детской, ничего не понимающей, памяти. Какое-то неубранное поле, подвода. Переправа через Дон в составе «живого щита» для немцев и наши бомбы. Первые дни наши самолеты не бомбили переправу, когда по ней шли беженцы, чем стали пользоваться немцы, «гоняя» беженцев взад-вперед, заставляя их «сопровождать» свою технику. Потом стали бомбить.

Разбитая переправа и ледяная вода, обернувшаяся воспалением лёгких у малышки…

Пацаны, когда они вырастут, будут потом долго задумываться над вопросом советских анкет тех времен: «Были ли вы на оккупированных территориях?» Формально, тот дом, напротив офицерского городка, был на краю зоны оккупации, и кто знает, как считать. А то, что она увела своих детей из этого места на запад, в село, точно уж захваченное немцами, она никому не сказала. И пацаны честно писали потом в анкетах «нет» и двигались дальше вверх по своим служебным лестницам.

Вообще говоря, она никому так и не сказала, как она пробралась в село и как она потом вернулась. И как она прожила там, в деревенском погребе, всю осень и зиму, пока в городе были фашисты. Но ведь можно же в селе прожить, правда? Пусть и оккупированном. Пусть и с двумя пацанами, шести и семи лет, и годовалой девочкой, больной воспалением легких. Пусть и в погребе, поскольку в доме обосновались враги.

Можно.

Ну вот, опять погреб. Ну, тогда снова о погребах. Немцы быстро поняли, что там, в этих южнорусских погребах, могут прятаться люди. Иногда, когда немцы подолгу оставались на одном месте, как в том селе, куда убежала героиня нашего рассказа, они знали, что в погребе живут, и мирились с этим, если только им не досаждали лишним появлением на глаза или, упаси Бог, поисками еды. Так, наш младший погодок не выдержал однажды запаха готовящейся каши в полевой немецкой кухне и выполз на свет. Результатом стала игра в футбол с немецкими солдатами, где он исполнил роль мяча. Его выходила потом старуха-знахарка, приходив-

шая по ночам с отварами, травами и растирками. Она же вылечила и годовалую девчушку. Мальчишкам, правда, досталось – они должны были пережевывать и выплевывать зернышки и стебельки принесенного бабкой «лекарства», чтобы накормить потом этим малышку…

А вот когда немцы натыкались на такие погреба во время своего движения, могло быть по-иному. Так сиротой стала двоюродная сестра моей мамы – они тоже бежали от немцев и пережидали в таком погребе их «наступление», когда крышку погреба откинули, бросили туда гранату и закрыли вновь.

Я пододвигаюсь ближе к щелке в оконной раме – мне сейчас кажется, что я физически ощущаю, насколько тяжела для нее была эта жизнь в погребе – без еды, с тремя детьми – покалеченным «футболом» 6-летним пацаном и больной воспалением легких годовалой девчушкой. Чем там можно согреться, чем и как там можно было дышать? Но человек, видимо, настолько прочный, имеющий многократный запас, или, если хотите, «порог прочности» «механизм», что и сам не представляет, что он способен выдержать, а через что пройти. Впрочем, «механизм» этот, несмотря на все потуги разобраться в нем, столь сложен, что обнаружиться этот запас может только, видимо, сам по себе – обычно, человек даже не представляет, на что он способен. И наоборот, – вследствие сложности этого механизма человек может не представлять себе, какая мелочь может его погубить, насколько он может, пройдя через баснословные трудности и лишения, оказаться беззащитен перед какой-то вшивой мелочью: взглядом, словом, запахом, – ставшим вдруг для него ахиллесовой пятой.

В том погребе занятого немцами села прятались еще два человека – женщина, которую во всех рассказах младший пацан будет потом называть «мамашкой», и ее 8-летняя дочь. В тех местах слово «мамашка» обозначает некую родственную связь, но, будучи под впечатлением от услышанного, я не придал значения характеру этой связи, так что пусть она и дальше будет «мамашкой». Собственно, они и из города бежали вместе, и в пыльном переулке жили в соседних домах. Да и мужей на фронт проводили одновременно. Наш, статный и широкоплечий, перед самым своим отъездом раздобыл где-то громадный кусок мяса, половину свиной туши, – ну, чтоб «селянке» не беспокоиться о еде – и положил его в погреб, в дальний и самый холодный его угол. Фронтовые дороги мужчин разошлись, и, когда фронт подкатился к городу, муж «мамашки» был ранен.

Не рассказал вам еще. Если по пыльному переулку выйти к трамвайным путям, но не переходить к Дому Офицеров, а повернуть налево, то в паре кварталов будет военный госпиталь. Он всегда был военным – и до войны тоже – ведь рядом же офицерский городок. «Мамашка», до своего бегства (простите, эвакуации) на запад даже подрабатывала в нем санитаркой. Но, когда ее мужа, тяжелораненого и искалеченного, привезли с фронта именно сюда, по жестокой случайности ее там уже не было. Вот ведь судьба, да? Пройти через кромешный ад боев отступающей или даже бегущей армии, попасть умирающим глубоким калекой в готовящийся к эвакуации госпиталь в двух кварталах от собственного дома, госпиталь, в котором всего каких-то пару недель назад была санитаркой его жена…

Ну вот что я опять пытаюсь политес какой-то блюсти? Со времен Пирогова военная медицина ставила своей задачей не лечение людей. Единственной ее целью было поставить раненого солдата снова под ружье, поставить максимально быстро. А если тяжесть ранения была такова, что солдат в строй не возвращался, то… Нет, без политеса никак. …То военная медицина просто теряла к такому пациенту интерес. Я это только к тому, что никто тот госпиталь на трамвайной улице, в двух кварталах от пыльного переулка, эвакуировать не собирался. Кто мог уйти – уходили сами, а кто не мог – тем была уготована другая участь.

«Мамашкин» муж выдержал всё. Бесконечный ужас боев в составе бегущей армии, тяжелейшее ранение, отсутствие «интереса» к нему со стороны военных медиков госпиталя в двух кварталах от собственного дома, отсутствие жены и неизвестность судьбы, ее и дочери. Шестым чувством он понял, что никто этот госпиталь не будет эвакуировать, а его «содержи-

мое» просто уничтожат, и принял решение из него бежать. Невероятными усилиями, больной и искалеченный (вот, это снова о том, что мы и не знаем, на что способен человеческий организм), он преодолел эти два квартала. Добрался до дома, которого уже не было. И соседского тоже не было. Погреб? Сначала открыть крышку своего погреба. Заползти в него, всё обшарить, выползти наружу, пережить отчаяние и надежду одновременно…

Когда он откинул крышку соседского погреба, ну, того, в котором наш танк завалил нашу селянку, и в котором создал свой запас из половины свиной туши наш широкоплечий статный военный, в нос ему ударил запах гнилого мяса.

Тогда он и сошел с ума.

Ахиллесова пята.

А потом город освободили, быстро освободили. В феврале 43-го.

И «селянка» смогла вернуться.

Она-то не сказала, как, но память младшего пацаненка снова выхватывает откуда-то разрозненные картинки и накладывает их на мои собственные – услышав этот рассказ, я не смог удержаться, сел в машину и поехал туда, чтобы своими глазами увидеть, где всё это было… да нет, ощутить.

Дон в этих краях не столь еще широк, как ниже, в Шолоховской Вешенской или еще ниже у Ростова. И не столь могуч и норовист, как тот, что пересекает меловые горы у Дивногорья – Белогорья в паре сотен километров отсюда вниз, поднимая правый обрывистый берег на сотню с лихом метров над собой. Но всё же силен, чтобы доминировать надо всей округой и заставлять пересекающих его по мостам и переправам останавливаться, замирая от восторга на спуске или для перевода духа на подъеме, на пусть и не обрывистый, но достаточно крутой и высокий правый берег. Да что я рассказываю – садитесь в машину и сами езжайте по трассе «Дон» к югу. Сами увидите огромную бескрайнюю равнину, но не абсолютно плоскую, а легкими волнами уходящую далеко за горизонт, через балки и овраги, через саженные перелески, огромными бескрайними полями. Поезжайте в июле или первой половине августа, когда хлеб уже созрел, но еще не был бы убран, а подсолнухи уже были бы выше роста и с огромными, но пока еще не пожухлыми, желтыми головами… Впрочем, попадете к уборке – тоже не страшно, вместо колосящихся желтых хлебных полей увидите уходящую вдаль вереницу идущих «цугом» комбайнов, поднимающих симметричные столбы черноземной, с примесью золотой пшеничной шелухи, пыли. Сможете назвать нарисованную картинку одним словом? Сможете, где-то между Ельцом и Задонском.

Раздолье. Или Приволье.

Так и называются эти деревни к западу от не ставшего городом-героем городка, через Дон, на высоком правом его берегу; в одну из них и бежала наша селянка.

За мостом через Дон в нужное мне место вели две дороги. Собственно, это тоже особенность здешних краев – дорог тут всегда было много. Ну, не беда, что до недавнего времени большей частью грунтовых (асфальт тут появился на моем веку, то есть не сильно раньше перерождения хлорированного облака пара в нитридо-титановый кафедральный собор). Настолько это произошло недавно, что не все атласы разобрались с правильным отображением качества покрытия – где он, асфальт-то, есть, а где – нет, не говоря уж о навигаторах. А полевых дорог тут всегда было много, всегда они соединяли раздольные поля с привольными деревнями. Я отдал право выбора навигатору, и тот в какой-то момент свернул меня в поле, на абсолютно ровную, ровнее только что оставленного асфальта, полевую дорожку, причудливо петлявшую по подсолнечному морю. Когда дорожка выходила на «гребень волны», впереди открывались бескрайние равнины квадратами чередующихся полей хлеба и подсолнухов. Раздолье. И, знаете, тут нет почему-то лесополос. Лесочки и заросли кустов встречаются в низинках, там,

куда с полей стекаются ручьи вешних вод – в сухие, как правило, в обычное время, балки. Да деревни тяготеют от летнего южного зноя к берегам речушек, упрятанных в заросли ветел и ив. Приволье. Я вкатился в Приволье со стороны поля, вскочив у моста через речушку на асфальт. Дома, расположенные вдоль дороги и вдоль уходящей вправо под мостом речки, укрытой тенью огромных ветел. Второй дом, фасадом на реку. Там этот погреб.

А знаете, в названиях тоже есть свой смысл. Приволье. Раздолье. Еще соседнее – Богоявление. Следующее – Успенье.

Вот, не Привольное, какое-то, и не Раздольное. И не Успенское. Существительное. Было бы «привольное», захотелось бы сказать, что жизнь тут – такая, вот, сякая, эдакая. А еще и привольная. А тут все четко: главное – существительное. Успенье. Здесь не могло быть деревни «Счастливое», да? Могла бы быть «Счастье».

Но она возвращалась в феврале. А зима 42/43 ох снежная была, ох морозная… Да и хлеб в ту осень не убрали. Нет, это, конечно, помогло им выжить – пацаны бегали по ночам, прячась от деревенских фашистов, в поле, тем потом и жили. Но по пути назад им пришлось преодолевать заметенную снегом дорогу через нескошенное поле, широкими волнами уходившее за горизонт.

Две женщины, селянка и «мамашка». Четверо детей – два пацана шести и семи лет, восьмилетняя девчушка, да годовалая малышка. На санках. Нет, больше на руках, поскольку на санках – нехитрые пожитки. Первым «канючить» начал младший пацан. Устал – нет сил.

– Мам, давай остановимся, костер разведем, отдохнем, согреемся! Ну, даваааай!

– …

– Мам, остановись, – вон, сколько дров! Штабеля вдоль дороги…

В какой-то момент он остановился у штабеля, смахнул с торчавшего бревна снег, сел на него и сказал, что дальше не пойдет. И тогда она подошла к нему и ударила по лицу.

Это был единственный раз в жизни, когда она его ударила. А потом она повернулась и пошла. И он пошел за ней следом.

Вот и я думаю, какие штабеля дров на этой, петляющей по неубранным хлебным полям, дороге? Где нет даже лесополос и перелесков?

Штабеля трупов, сложенных тут с осени, заметенных снегом и окоченевших настолько, что уже не разобрать, кто они, немцы или наши.

Так и пришли к переправе. А тут и до города рукой подать.

Дома нет и еды нет. Снова погреб и запах гнилого мяса. Оно их и спасло – она варила это мясо, вываривала до изнеможения, до состояния промокательной бумаги. Иначе – смерть от голода.

А потом и широкоплечий статный военный вернулся.

Цифр времени на часах башни Сити не видно. Но время вообще штука странная – те несколько страничек мыслей – они секунду длились или час? И почему-то в моем мозгу осень и зима 42-го длятся гораздо дольше всего того времени, что прошло потом, с момента ее возвращения весной 43-го и до его прихода с фронта в 45-м.

Сначала они жили в том самом погребе – свидетеле бегства танка и сумасшествия «мамашкиного» мужа. Потом стали ходить на реку, по которой плыли бревна, срубленные где-то выше по течению, в корабельных рощах, и предназначенные… да кто его знает, для чего они были предназначены. Отец – косая сажень – багром вытаскивал бревно и взваливал его себе на плечо, а за другой конец хваталось остальное семейство. Или вместе с соседом клали на тележку – по два бревна – и вдвоем впрягались. А дети и селянка помогали, подталкивали. Так и строили они свой дом в пыльном переулке, уходящем от трамвайной улицы, заново. Пацаны стреляли из рогаток голубей и жарили добытые из гнезд яйца на листах железа, на костре из обломков Дома Офицеров. Получали по-настоящему по заднице, когда отец узнавал, что кто-то снова залез в офицерский городок. Однажды они хоронили мальчишку, полу-

чившего осколок из костра, а другой раз младший из наших пацанов свалился с балки на высоте третьего этажа, в попытке достать гнездо.

Особенным развлечением было собирать по округе валявшееся в огромном количестве оружие. Ну, у пацанов-то понятная мотивация – пострелять тем, что стреляет, покидать в костер, что взрывается, а остальное – в металлолом. Но за тем же металлоломом и другие охотились, те, кто постарше. И команды специальные – и за «металлоломом», и за охотниками. Кончилось все безобидно – в те времена пыльный переулок другим, не трамвайным концом, упирался в заболоченную низину, в которой остался подбитый танк. И пацаны решили сдать в металлолом… ствол. Стащили у отца полотна для ножовок и принялись пилить. Команда «охотников за охотниками» пару недель наблюдала, но потом сжалилась и вывезла танк на тягаче.

Пацаны ходили в школу, статный их отец – в неизменной, теперь уже милицейской форме – на работу. Селянка потеряла уже своё девичье очарование, стала больше похожа на коренастую тетку и время свое, по завершении строительства, посвящала саду – выращивала там цветы и продавала их потом на стихийном рыночке у трамвайного круга в двух остановках, покупая на вырученные деньги какую-нибудь обновку для парней или малышки. Он, как милиционер, слегка ворчал, но не препятствовал. Да и сад любил, только по-своему – ему очень нравилось ухаживать за яблонями, обрезать ветки, подвязывать, прививать. И он, как ребенок, грустил, когда под тяжестью яблок ствол дерева вдруг трескался вдоль.

Представляете, да? Я потом видел это в отцовском уже саду. Вот, в полуметре от земли, основной ствол дерева расходится на два под острым углом. Если вдруг от места, где они соединяются, пойдет трещина, – пиши пропало. Не остановить. Будете лечить, заливать варом или садовым цементом, скреплять скобами. Кончится тем, что один ствол придется потом выпилить. И не факт, что второй после этого выживет. Да.

«Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана —
Прольется пламенной смолой».

На Нинке женился старший. Младший поступил в университет и встретил там свою любовь. Разъехались, и дом, вроде, и не такой уж большой, вдруг стал огромным и опустел. Постепенно дело пошло к появлению внуков, и тогда…

Четвертый ребенок появился у них за полгода до появления первого внука.

Вот об этом я уже могу рассуждать со своей высоты. Знаете, вы еще молоды, сильны, любите друг друга по-настоящему. (Это становится как-то само понятно. Вот, вроде, живете, целуетесь, спите вместе… год, пять, пятнадцать. А потом понимаете – по-настоящему. Думаете, приврал, про пятнадцать-то? Ничуть. А в том городе другого измерения – и того больше). Да, так вот и приходит тогда к вам это решение – родить еще одного, позднего ребенка. Совершенно осознанное, не спонтанное, настоящее решение. Чтобы любоваться им, его росту, успехам. Пожалуй, вот в этот момент можно и сказать, что любовь – она родилась и окрепла окончательно.

Я снова тянусь к твоей пачке сигарет. Обещал ведь, что не буду. Но… То, что произошло дальше, моему рассудку не подвластно. Потому что такого не бывает.

– Бывает. Поверь мне, бывает всё. …Ты обещал не курить… А бывает всё. Бывает, вдруг приходит другая любовь…

– Я не верю. Я вообще не верю в любовь с первого взгляда, – Я судорожно оглядываюсь. Нет, и на этот раз показалось, и тебя за спиной нет. Хотя… Когда тебя нет – ведь я же с тобой разговариваю.

– Повторяешься. Я тебе всегда отвечаю. Бывает.

Я затягиваюсь сигаретой – ну, получается, наврал, что не буду. Но ты ж все равно не видишь. А когда придешь – скажу, и ты простишь. Не бывает, на самом деле, другое.

Они построили стену. Дом разделили пополам и стали жить, каждый в своей половине. Дочь уже выросла и ушла к своему мужу; так они и стали жить – статный, поседевший уже красавец в своей половинке, а она, превратившаяся в самую обычную среднерусскую тетку с грубыми, лишь по молодости казавшимися милыми чертами лица, с младшим сыном – в своей. Ходили в дом, каждый в свою часть, через разные входы, даже калитку в заборе он сделал свою. Наверное, чтобы не встречаться лишний раз. Сад только не стали делить.

« – Пока жива, с тобой я буду —
Душа и кровь нераздвоимы, —
Пока жива, с тобой я буду —
Любовь и смерть всегда вдвоем.

Ты понесешь с собой повсюду —
Ты понесешь с собой, любимый, —
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом».

А когда младший сын подрос и захотел привести в дом невесту, он подарил ему свою половину и куда-то уехал. А сын ее зачем-то продал. И в милом доме, в его половине, поселились посторонние, случайные люди, а сын стал строить пристройку к оставшейся половинке уже перепиленного… нет, «*раздвоенного под пилой*», дома.

Вот этого я и не могу никак понять. Что, что за причина должна позволить сломаться стволу – вдоль – после всех тех бурь и ураганов, после всего того, что всё дерево, целиком, пережило? С подводами и бомбежками, с погребами и оккупацией, с четырежды бесконечным счастьем?

– Ты что, серьезно, считаешь, что бывает всё?

– Да.

– Я тебе не верю.

– Тогда зачем ты всё это пишешь? – резко говоришь ты, а я молчу и снова затягиваюсь сигаретой. Но ты немного смягчаешь тон, – Ты же помнишь, какая у меня профессия? Сколько судеб за это время прошло… Бывает всё, поверь. И у каждого оно своё, это «бывает»…

Я снова перевожу взгляд с пустого кресла на золото Кадашей. Зачем пишу? Мне кажется, что и тут, в мире людей, действуют те же законы, что и, например, в физике. Те же пресловутые законы сохранения. Если куда-то что-то прибыло, то, значит, и убыть должно. Это я про «запас прочности» и «ахиллесову пяту» одновременно. Когда человек один, он способен на многое. Он сам не представляет, на что он способен. Но когда его ждут, когда где-то, пусть не рядом, но есть его «ответная часть», «элемент пазла», душа, способная соединиться с его душой в минуту высшего блаженства, тогда его способности к выживанию, к преодолению всего, в том числе и непреодолимого, увеличиваются многократно. Как у Симонова: «Как я выжил, будем знать только мы с тобой?» А вот платой за это становится уязвимость. Страх лишения «ответной части», страх за нее – парализующая волю, разрушающая психику иррациональная субстанция… ну что тебе, «мамашкин муж», стоило собрать волю в кулак, спуститься в этот чёртов погреб, да посмотреть на то, что ты, пережив весь ужас боевых действий бегущей армии, тяжелое ранение и госпиталь, в котором не лечат, что ты не смог пережить только в своем воображении? Но что-то мне подсказывает, что чем больше «запас прочности» в обычной, «рациональной» части жизни, тем глупее, мелочнее и обиднее то, что может разру-

шить всё это в части иррациональной, «ахиллесовой». Достаточно лишь случиться тому, чего ты в жизни просто не можешь себе представить. Да что там случиться? Дорисовать. Принять запах, взгляд или слово за нечто случившееся, – и тогда вся крепость, строившаяся десятилетиями, перенесшая бомбёжки и танки, бегство и погреба, болезни и ранения – всё это становится карточным домиком и рушится в один миг.

А еще… чем ветви ближе друг к другу (ну, под острым углом же расходятся), тем меньше усилий надо приложить, чтобы ствол треснул вдоль. Просто геометрия…

«– Но если я безвестно кану —
Короткий свет луча дневного, —
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?

– Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим».

Первым умер он. Ухаживала за ним Нинка, на ее руках он и умер. На его могиле – портрет в форме. А она пережила смерть троих из четырех своих детей. Сначала – самого младшего, потом старшего и дочери. С дочерью вместе ее и похоронили, в одной могиле. Совсем на другом кладбище, чем его.

« – Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?

– За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба – я и ты».

– Ты так и не прилёг, – говоришь ты ласково, но, вместе с тем, тревожно. Твои глаза совершенно ясные, значит, ты и в самом деле, наяву, проснулась и пришла, – Что с тобой сегодня?

– Прости… – Я и сам понимаю, что наяву. Ты садишься в свое кресло и берешь сигарету, а я наливаю тебе в бокал вино и пристально смотрю в твои глаза.

Взгляд уходит куда-то глубже и глубже, внутрь тебя, но не теряется и не встречает никаких препятствий. «Вернемся оба?» – я вдруг отчетливо вижу, что ты-то никуда и не уходила. Вот так и была здесь, в этом кресле, с сигаретой и бокалом, пока я мотался по командировкам, экспедициям и другим измерениям, выдумывая какие-то небылицы о любви… Тебе не нужно никуда возвращаться. А я?

Мой взгляд натыкается на памятник широкоплечему статному мужчине в форме на его одиночной могиле. Я пытаюсь заглянуть ему в глаза, но натыкаюсь лишь на каменную пустоту. Грустно ли ему, что он тут один? Что за мелочь такая пробежала через его дом и сад, через тот ствол, выдержавший бури и невзгоды, фронт и оккупацию, но треснувший вдруг вдоль, от веток до самых корней, и разрушила вмиг крепость, которую они строили десятилетиями из выловленных в реке бревен?

Грустно, не грустно… Я вдруг пониманию, что думаю совсем о другом. О том, что не знаю, как ему, но лично мне-то все равно, что будет там, за памятником. Можно ли верить в Бога и не верить в то, что что-то будет потом? Глядя на его памятник, я вдруг понимаю, что можно. Что люди верят в то, что там что-то есть только оттого, что они не поняли, не встретили, не почувствовали и не испытали чего-то, что называется счастьем, тут. Или, может, пропустили. Что вот те безумные десятки лет гонки со временем – с молочными кухнями и диссертациями, болезнями и реанимациями, успехами и экзаменами, победами детей и тревогой за них… что вот это кресло и в нем ты, никуда и никогда не уходившая, пока я скитался по командировкам, экспедициям и другим измерениям, придумывая небылицы о любви, с бокалом в руке и сигаретой, – это и есть то бесконечное счастье, которое уже выпало вдруг на мою долю. Нужно ли верить еще во что-то?

А могила… не все ли равно? Какой будет моя могила, будет ли, и если будет, то кто, за ней ухаживать? По правде, лучше бы ее и вовсе не было. Зачем? Когда-то, попав впервые на древнее мусульманское кладбище, я был поражен тому, что там, на могилах, нет имен похороненных, только изречения из Корана. Много лет спустя мы ставили комплекс памятников на семейном погосте деревенского кладбища. «А где же крест?», – спросил тогда установщик. «Так мы же плиты ставим, с фотографиями и именами», – удивился я в ответ. «Эх ты, – сказал могильщик, – памятники – не от слова „память“, а от слова „напоминать“. Это если ты вдруг забыл. Памятники можно не ставить, с табличками и фотографиями. А вот крест – поставь обязательно». Память – это не памятник. В еще более древних религиях памятников нет вовсе – огонь у персов, хищные птицы у монголов, поглощающая пепел вода Ганга у индусов… Какой смысл сохранять а потом поклоняться безжизненному телу, из которого ушла уже душа, а с ней вместе и память – туда, где это и должно храниться? В человеческую душу тех, кто жив…

Память – это же другое, это же рассказ внуков своим внукам о бомбежках или экзаменах; о яичнице из голубиных яиц, в конце концов. И о том, что тебя ждали. И о той теплоте, что сопровождала всю жизнь. Наверное, это и есть та самая Любовь, нет? А памятник – холодный камень, спрессованный песок, пыль…

Я вдруг понимаю, что смотрю сейчас на огонек твоей сигареты, а ты с тревогой смотришь на меня.

– Что-то тебя, похоже, накрыло…

А я улыбаюсь, встаю, наклоняюсь над твоим лицом, вдыхаю особенный, смешанный с сигаретным дымом и ни с чем несравнимый твой воздух, и еле-еле слышно, чтобы смогла разобрать только ты, думаю:

«Нет. Просто я снова вернулся».

С любимыми не расставайтесь.

PS. Наверное, сентиментальная ерунда все это. Но вот ты дочитываешь эту очередную «небылицу о любви» и кладешь голову мне на плечо – в ту самую ямочку, которая, как ты сама говоришь, специально сделана для того, чтобы ты могла положить в нее голову. Пазл.

октябрь 2013.

Бери, не вникая…

«Если сколько голов, столько умов,
то и сколько сердец, столько родов любви».

Л. Н. Толстой. «Анна Каренина».

Вы когда-нибудь задумывались о любви, как о понятии? Задавали себе вопрос, «что это?» «Что за странная идея?» – скажете вы и будете, если вы, конечно, не философ или поэт, абсолютно правы. Вот и я никогда не думал об этом в обычной жизни. Ну, какой смысл рассуждать о любви, когда ей можно налить кофе, вина или просто ее обнять? Казалось бы, всё и так понятно без слов, причем тем более понятно, чем этих слов меньше. Но совсем иное дело – путешествия. Путешествие – удивительное состояние: мало того, что масса всего нового и необычного вокруг тебя снаружи, так еще и внутри все по-другому. И мысли тебя начинают занимать, о которых в обычной жизни даже в голову не приходит подумать. И дело тут не столько в романтике – звездное небо, северное сияние, шум прибоя или плеск рыбы в реке… Эти раздумья возникают не сами по себе; они – плод самого путешествия. В процессе экспедиции ты обязательно натыкаешься на что-то, что поражает тебя и требует, чтобы ты это обдумал. Конечно, это все не только о любви. Но потом, когда разбираешь фотки или записи, ты находишь те места, где тебе пришлось о чём-то философском поразмышлять, и автоматом включаешь эти раздумья в текст дневника, в виде отступлений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.